Иван Тарба

Глаза моей матери

Роман

Перевод с абхазского В. Рослякова.

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1982 г.

(Печатается по изданию: И. Тарба. Глаза моей матери. Москва, "Роман-газета", № 3 (985), 1984 г. 80 с.)

(Сканирование, вычитка - Абхазская интернет-библиотека, http://apsnyteka.org/)

Самок красивое в мире -
это глаза матери.
Аветик Исаакян

1

Я проснулся как раз в ту минуту, когда поезд загрохотал по мосту. Мгновенно отрешился ото сна и присел на полке.
Ночью перед этим я долго не мог заснуть. Я думал. Разгулявшееся воображение уносило меня далеко, в такую даль, куда способна уносить только мечта.
Где я не побывал! И конечно же очутился на родине. Тропинка моей мысли провела меня, через всю деревню, не оставив необойденным ни одного уголка, ни одного события, хоть сколько-нибудь подействовавшего на меня в детстве или в юности; воспоминания собирались вокруг определенных лет, одним память радовалась, другим огорчалась, но постепенно выбивалась из обозначившегося круга, переходила в другой, и так — шаг за шагом, год за годом — я дошел до сегодняшнего дня.
Сегодня я уже не маленький, не ребенок, и, кажется, успел увидеть и услышать кое-что, но посмотришь — и ничего нету, по-настоящему, еще не случилось ничего, и мысли вновь и вновь, обежав юность и детство, прибиваются к сегодняшнему дню и рвутся сквозь него в будущее — дальше.
Оказывается, человеческая жизнь подобна кинокартине. Там, в кино, делая жизнь человека — со всеми его делами, переживаниями — способна уместиться в рамки полутора часов. И в жизни тоже — бьешься, мучишься десятилетиями, а отними все лишнее, оставь только главное, неповторимое — и неизвестно, хватит ли даже на один сеанс.
И ночью, когда не спал, я не мог понять, что же в моей жизни останется незыблемым, войдет в этот краткий фильм, и что отлетит, как ненужные осенние листья, — без, памяти, без следа.
В этом месте я просыпался всегда — когда поезд проезжал мост через Ингури. В каждое мое возвращение из Тбилиси домой. Этот грохот был совсем другой, чем все остальные, я узнавал его безошибочно даже сквозь сон. И поэтому, когда проснулся, сразу понял, где мы проезжаем.

В купе было еще совсем темно, лишь чуть-чуть светало, все спали. Я оделся и вышел. Я стал у окна. Силуэты деревьев и домов возникали передо мной и тут же исчезали, сначала
почти совсем неразличимые, но с каждой минутой, проступающие в рассветной дымке яснее и яснее.
Поезд летел, как вороной конь, несущий атарчей * *(* Атарчей — красный лоскут, который несет первый всадник на конных состязаниях, все остальные скачут за ним, чтобы отобрать его.)*.
— Не рано встал, дружок? — вместо доброго утра бросил мне проводник, проходя мимо.
— Я выспался.
— А! Ну смотри! Я бы все равно в Сухуми разбудил...
— Спасибо, не волнуйтесь...
«Что ты там ни говори, — вертелось в голове у меня, — а я уже дома, дома». И от этого мне было необыкновенно радостно и легко.
Действительно, осталось только проехать Гали, потом Очамчира, Гульрипш, и потом уже сразу — Сухуми, конец моему путешествию.
Сильнее всего волнуешься в эти последние часы. И сердце мое стучало, как колеса поезда, еле умещаясь в груди.
Много раз я подъезжал к Сухуми и волновался много раз. Но волновался ли так, как сейчас?
Никогда.
Раньше я приезжал студентом — побуду несколько дней в Сухуми, потом отдыхаю в деревне, ну, а когда каникулы кончались, уезжал обратно учиться. Так продолжалось пять лет, И это было привычное дело.
А теперь?
Теперь я ехал домой навсегда.
Теперь кончалось это бесконечное снование туда-сюда — из Тбилиси в Сухуми, из Сухуми в Тбилиси, мне выдали документ, свидетельствующий о моем образовании, подвели, как птенца, к краю гнезда и вытолкнули вон — на все четыре стороны, теперь, сказали, дело все в тебе, дерзай, старайся.
И вот я должен был дерзать, уже сам, без посторонней поддержки, как это было в годы детства, юности, только что окончившейся учебы. Да, детство и юность ушли, и впереди лежало нетронутое поле моей будущей работы, поле, которое я должен был пройти лично, сам — с начала и до конца.
Почти такое же чистое и нетронутое поле лежало и перед моим народом, как и перед всеми, кто собирался посвятить жизнь свою искусству.
Нет, я не хочу сказать, что абхазцы не были знакомы с искусством вообще. Мой народ испокон
веков умел по-своему чувствовать, у него было свое изобразительное искусство — нежные и в то же время остросюжетные росписи, которыми он разукрашивал все, начиная от ложек, которыми ел, и кончая домами, в которых жил.
Да, если даже говорить о ложках, которые делал старый абхазский мастер, и они являются предметом искусства. Из рога и самшита, с красиво переплетенной ручкой; есть такой ложкой мацони * *(Мацони - кислое молоко)* из миски — что может быть лучше! А эти самые миски, изготовленные, из дерева, тарелки, кружки! А росписи стен в домах! Цветные и резные балясины, которыми украшена абхазская акуаскья! * *(* Акуаскья — деревянный жилой дом.)*
И сегодня полно вещей, превращенных абхазскими мастерами в настоящие памятники искусства. Абхазцы не смешивали свой стиль ни с каким другим. До сих пор им оставались верны топор, нож и долото. Каждой нации, сообразно с ее особенностями и обычаями, прививается свой, особый, неповторимый рисунок в искусстве. У абхазцев он — в жилье, в одежде, в домашней утвари. Раньше дальше этого искусство и не шла.

Правители столетиями угнетали народ, чужеземцы боялись, что в его руки попадет перо, которым можно написать книгу, кисть, которой можно что-то изобразить. И тогда раскроются глаза, развяжется ум, и народ увидит то, что не должен видеть. Поэтому искусство абхазцев не выходило за двери пацхи * *(* Пацха — плетеная кухня)*, а уж если и выходило, то шло никак не дальше собственного двора — утвари, необходимого инвентаря.

С новой жизнью родилось и новое искусство — искусство живописи. И оно подняло голову, пошло по абхазской земле, где такая красивая природа и такая богатая жизнь, где все само так и просится на полотно художника.

Вот это поле и ждало меня.

Я закончил Академию художеств и ехал на родину.

Я — художник Алхас Анба.

Но художник я пока что только по документам. Действительно, если кто спросит, я тут же могу показать свой диплом, где написано, что я окончил и какова моя профессия, и все это за соответствующими подписями, с отчетливой печатью... Но на самом деле я никакой, конечно, еще не художник. Я чувствую себя здесь как свежевыпеченный хлебец, который вытащили утром из духовки...

И все-таки я художник. Молодой абхазский художник, а для того, кто хочет поточнее, — живописец Алхас Анба.

Когда я садился в поезд, я так и думал: вот закончилась учеба, и я стал тем, кем хотел стать До боли в сердце с самого детства. Я получил документ. Я — художник. Рисуют-то многие, и, кто знает, может, кто-то даже и лучше, но они не называются художниками, они просто так, любители. Может, где-то, в каком-то заштатном клубе, и устроят раз в сто лет их выставку, но это так, для галочки, даже никто и не придет...

А я — другое дело. Даже если кто-то и будет недоволен мной, что он может сказать? Ничего. Потому что перед ним настоящий художник. Професионал.

С таким настроением я отправился в путь. Мне казалось, что вместе с документом мне дали в руки и само умение рисовать. Рисовать не как студент, а как профессиональный художник.

Мне слышалось, как во всех концах моей родины перекликались люди: «Вы слышали, Алхас Анба кончил учебу и едет домой? Вы не идете встречать художника Алхаса Анба?»

И я ехал, готовый и въяве услышать эти голоса.

Но чем ближе поезд подъезжал к Сухуми, тем неувереннее я чувствовал себя.

Прежде всего, я даже не представлял себе конкретно, что буду делать. Раньше я учился, и все шло как бы само собой. Передо мной всегда стояла хоть и маленькая, но вполне определенная цель. А теперь дорога открыта, свободна, но куда, собственно говоря, мне идти, в какую сторону?

Этого я не знал.

Провожать человека легче, чем встречать. Когда я уезжал, провожали меня прекрасно, но как встретят сейчас? Этот вопрос мучил меня все сильнее сильнее, по мере того как поезд приближался к Сухуми.

Рассвело.

Исчезли белые здания санатория в Гульрипше, поезд въехал в сосновую рощу Агудзеры. Мне казалось, что он несся все быстрее и быстрее. Вдруг он пронзительно закричал, как всадник, берущий первый приз, — впереди показалось Келасури.

И вдруг на душе стало светло и спокойно. Потому что совсем другой голос заговорил во мне.

«Приехал, Алхас? Я знала, что ты приезжаешь сегодня утром, — шепотом говорила моя мать. — Ты не сообщил мне, но это было и не нужно, я и так знала... Знала, потому что с тех пор, как родила тебя, ни на один день, ни на один час не оставляла тебя одного, всегда была с тобой...»

«Я это знаю, мать. Вот видишь, я приехал, я кончил учиться...»

«Ты приехал в хороший час, мальчик мой. Ты в жизни уже кое-что перенес. Но главное у тебя впереди. Ты будешь и спотыкаться, и падать — жизнь трудная штука, ничего просто так в ней не дается. Но обо всем этом ты должен узнать только сам. И все-таки будь осторожен. Жизнь — как море. А море никогда не станет миской каши. Даже тогда, когда кажется оно спокойным, вдруг начинают двигаться многоэтажные волны, опрокидывают все, рушат твердые берега... Но не бойся. Ведь жизнь — сраженье. Ты знаешь об этом? Когда волны подхватят тебя, надо махать руками и бороться с ними, тогда ты спасешься. А если опустишь руки — тебя унесет, исчезнешь без следа. Не надейся на легкое, мальчик мой, готовься к трудностям, ты слышишь, Алхас?»
«Слышу, мать, слышу»,
«И не вешай голову, будь уверенным в себе, слышишь?»
«Да, слышу, мать, слышу».
«Не бойся ничего, мой сын, ведь я с тобой. Я с тобой».
Если бы эти слова я услышал от кого-нибудь другого, то, ей-богу, обиделся бы, ведь я считал себя уже взрослым, и мне не надо было говорить о трудностях в жизни и обо всем прочем...
Но это была мать. Моя мать.
Поезд подходил к Сухуми.

2

Как нарочно, мой приезд пришелся на воскресе¬нье. Никто не встречал меня. И это совершенно убедило меня в том, что мой приезд в качестве художника безразличен, не только для огромного чужого мира, но даже для моей маленькой родины. Я не заметил в большой толпе ни одного лица, которое обратило бы на меня хоть какое-то внимание.
По дороге с вокзала я пошел той улицей, где было художественное училище, которое я закончил перед академией. Сейчас там было пусто. Я долго стоял и смотрел на здание, потом наконец повернулся и пошел прочь.
Я подошел к гостинице «Апсны». Поскольку торопиться мне было некуда, я зашел в пристроенную сбоку кофейню и заказал завтрак.
На балконе, во дворе, сидели сухумские старцы — живые свидетели многих и многих событий, ставших для нас далекой историей. Их не спутаешь ни с кем, когда они утром идут сюда пить кофе. Они стройны, лица исчерчены бесчисленными морщинами, как древние горы тропинками, от кофе и жаркого сухумского солнца они сделались смуглыми, почти черными.
Вокруг, меня говорили без умолку, гуд стоял как на пасеке. Слова сидевших поблизости еще кое-как долетали до меня, а остальное совершенно неразличимо сливалось с этой пчелиной музыкой.
Если бы попробовать записать все, что говорят старики, сидящие на балконе, то одному человеку пришлось бы потратить на это целый месяц. Одни из них начинали с горячего шепота и, обсуждая какую-нибудь проблему, доходили до яростного крика, другие присоединялись к первым, напрягали, подобно древним деревьям, чьи корни торчат из земли, свои жилистые шеи, и казалось, судьбы всего мира зависят сейчас от их спора; третьи сидели по двое, по трое, совершенно обособленно, пили молча кофе и как будто находились сейчас совсем в другом мире; а здесь оставили для холодного наблюдения лишь свои тени.
Тем временем в кофейню вошел кто-то худой, невысокого роста, с безжизненно обвисшим носом и бегающими под белыми бровями маленькими глазками. Шапка у него сидела набоку, еле держалась и ноги судорожно подрагивали; казалось, что он появился откуда-то после ночной попойки.
— О, привет, Киач! Где тебя носит? — раздалось сразу несколько голосов.
— Киач-коротыш!

— Ну ладно, тише! Нашли диковину! — ответил недовольно Киач и направился к кофевару.
Скоро он стал пробираться назад, высоко держа свою чашку. Увидел свободное место возле меня, чем-то оно ему приглянулось.
— Можно? — спросил он так, что это походило скорее на долг вежливости, чем на вопрос.
— Пожалуйста.
Незнакомец уселся и принялся с охотой хлебать кофе.
Вскоре я закончил свой завтрак, сосед мой тоже допил кофе.
Я встал, незнакомец поднялся тоже, вдруг схватил мой чемодан и пошел к выходу. Я сперва ничего не понял. Подумал, неужели он среди бела дня, на виду у стольких людей хочет меня обворовать? Я догнал его и тихо сказал:
— Извините, вы ошиблись, это мой чемодан.
— Я знаю, — последовал спокойный ответ.
— А если знаете, куда несете?
— Куда?.. А куда тебе надо...
— Что вы, что вы! — вдруг сообразил я. — Я сам донесу, не надо!
— Я донесу. Это моя работа.
Я понял, что мне не отнять обратно своего чемодана.
— С утра работку нашел, Киач? — спросил кто- то из-за соседнего столика.
— Не твое дело! — огрызнулся мой носильщик.
— Куда нести? — спросил он после того, как мы вышли из кофейни. — В гостиницу?
— Нет.
— А куда же?
— Я не иду в гостиницу... Я иду в другое место...
— Говори, куда хочешь. Я отнесу в любое место...
— Я, собственно, никуда не иду... Я только хотел пойти к морю...
— Отлично! Значит, пойдем к морю.
Он перехватил чемодан другой рукой и резво потащил вперед.
На набережной мы остановились. Незнакомец поставил чемодан.
— Сколько я должен? — я полез в карман, собираясь расплатиться последними деньгами за непрошеную услугу.
— Ты мне? Сразу видно, что студент. Ты мне не должен ничего!
— Нет, я так не могу, возьмите...
— Ты думаешь, что я нищий?..
Незнакомец вдруг прервал разговор, повернулся и неторопливо пошел прочь от меня.
— Спасибо, — пробормотал я растерянно вслед.
Он, к моему удивлению, услышал это, обернулся, приветливо махнул рукой и продолжил свой путь.
«Странный человек, — подумал я. — Взял и чемодан донес даром. А какое ему дело до меня? Или он живет по пословице: «Сделай добро — и выбрось в воду»? Может, замаливлет какой-нибудь грех?..»
Так или иначе, но это был первый человек, который оказал мне внимание в день моего приезда в Сухуми.
«Киач», — повторил я это имя и постарался получше запомнить.
...Еще долго после того, как у меня кончился весь хлеб, принесенный специально для них, чайки кружили над моей головой. Но наконец убедились, что больше ничего не получат, разлетелись в разные стороны.
Море дышало глубоко, точно прочищало легкие. Вокруг стояли горы и молчаливо смотрели на него, По их спинам были рассыпаны лучи солнца, блестевшие, как золотые украшения на башлыке.
Когда я посмотрел с пристани на Сухуми, то увидел снова здание гостиницы. Оно тоже

было облито утренним солнцем и радостно красовалось в его свете.
Я поднял чемодан и пошел обратно в город.
Поскольку я приехал в воскресенье, делать мне было нечего. Я пошел к выставочному залу Союза художников. Подумал, что, скорее всего, он тоже закрыт, но мне все равно нужно было туда ради одного человека.
Действительно, выставка была на замке. Сторож жил тут же, рядом, за поворотом. Его-то я и хотел увидеть. Мы были знакомы, и даже больше того — он приходился мне, как говорили, отдаленным родственником. Я пошел в сторону его жилища, но не успел пройти и десяти шагов, как он сам вышел навстречу.
— Алхас!
— Франкил!
Франкил Лазба собственной персоной стоял передо мной.
В первое мгновенье, когда я сказал ему, что закончил учебу и вернулся домой, он обрадовался, поздравил меня. Но потом замолчал и задумался. Он работал на выставке много лет, всех художников знал наперечет, знал всю их жизнь до последней косточки и, кажется, вообще все, что связано с моей будущей профессией.
— Ты выбрал нелегкую работу. Нелегкую. Очень. — Франкил вздохнул. — Много раз будешь стукаться, пока встанешь на ноги. Если встанешь — будешь молодец. А нет — поплетешься за кем-нибудь следом. Так бывает со многими, очень со многими. Я хоть и сторож, но глаза мои видят, я много перевидел на своем веку, мальчик.
Я молчал, отвернувшись.
— Ну ладно, что я тебя пугаю! Как говорят, не по грому дождь. Ничего, выплывешь, все в конце концов выплывают, одни лучше, другие хуже... Все равно выше головы не прыгнешь, лучше, чем можешь, не нарисуешь. Вот о чем речь... Ладно, зачем я тебе все это говорю, ты вон уже и нос воротишь... Скажи лучше, может, тебе надо чем помочь?
— Да, дядя Франкил. Я, честно говоря, за этим к вам и шел... Мне негде сейчас остановиться...
— Да, да, понимаю, с этого и надо начинать.
У Франкила было одно маленькое помещеньице, комнатка, пристроенная сзади к выставке, с особым входом. Мне уже приходилось останавливаться там на два-три дня, когда я приезжал в Сухуми; об этой комнатке я и вспомнил сейчас...
— Я бы, Алхас, позвал тебя, конечно, домой... Но ты знаешь, как мы тесно живем... Поэтому, извини, придется тебе опять в ту комнатку... Только чтобы никто об этом не знал. И чтобы спать приходил один.
— Мне больше ничего и не надо, дядя Франкил, спасибо вам!
Весь день я пробродил по Сухуми и вернулся в свою каморку только поздней ночью. Как только улегся на старый диван, сон, не спрашивая, подхватил меня и унес. И на этот раз ни одной мысли даже не успело мелькнуть в голове.

3

— А как ты думал, дорогой, яйцо само перед тобой покатится?
Рядом со мной на берегу реки сидел солидного вида и возраста художник Парна Загания. Перед этой встречей я уже кой-чего перепробовал, и все оказалось напрасно.
А теперь вот сидел с Парной на берегу Гумисты и разговаривал. Мы приехали сюда после обеда и с тех пор говорили почти без остановки. Уже солнце спустилось с неба и собиралось закатиться за море, а разговор наш все не кончался.
Сердцем я чувствовал, что Парна, не прав, но доказать это ни ему, ни даже самому себе не мог, потому что все факты были не на моей стороне. Парна видел мое бессилие, и это придавало ему еще большую уверенность.
И действительно, что я мог ему возразить, если с первого же дня моего приезда в Сухуми, с первых шагов, я не нашел в людях, способных мне помочь, ничего, кроме

абсолютнейшего равнодушия, скрытого за маской ничего не значащих общих слов.
Куда бы я ни пришел, мне широко улыбались, поздравляли меня с окончанием учебы, изъявляли радость по поводу того, что число национальной интеллигенции теперь увеличилось еще на одного человека, но стоило завести речь о чем-нибудь поконкретнее, например, о том, чем же мне теперь заняться, как интерес ко мне сразу пропадал и от меня спешили избавиться. Я чувствовал, что все, что они говорят об общих перспективах, о работе с молодыми и т. д. — пустые слова, в которых нет надежды даже на то, что тебе дадут когда-нибуд холодной воды напиться, если ты будешь изнывать от жажды.
В Союзе художников мое имя и фамилию вписали в какую-то карточку, точно оформили новорожденного, и посоветовали работать не жалея себя, используя все полученные знания, чтобы когда-нибудь потом, впоследствии, за мои будущие работы меня смогли принять в Союз.
А что пока?
Где я буду работать не жалея себя? Над чем?
Ни я, ни они этого не знали.
Я пошел в художественные мастерские. Но и там ничего для себя не нашел.
— Ишь, быстрый какой, — сказали мне, — только приехал — и сразу хочет работу! У нас не только для тебя, но и для тех, кто повыше стоит, не всегда бывает.
Но потом обнадежили:
— Ладно, заглядывай, может, со временем, через годик-другой, и для тебя что-нибудь найдется...
Там-то и увидел меня Парна. Подошел и предложил свою помощь.
После возвращения из Тбилиси я уже успел побывать дома. Но сказать там, что мне нужны деньги, не смог. Язык не повернулся. Когда я учился — другое дело, мне ничего другого не оставалось, как брать у них на жизнь, но теперь я стал самостоятельным, взрослым и почувствовал, что не могу больше стоять с протянутой рукой. Но жить-то надо! Я хочу стать художником — это одно, но необходимо срочно найти какое-то средство, к существованию. Вокруг этой темы как раз в шел у нас разговор с Парной.
— Да, в том, что яйцо не катится само, я уже убедился. Но что же надо делать?
— Надо начать с малого, — спокойно и уверенно заговорил Парна. — Потом все само придет. Трудно только сначала. И у меня так было. Но я не брезговал ничем, раньше срока нос не задирал, какую паршивую работу ни предлагали — брался. И не зря. Видишь, теперь все у меня есть — и дом, и хозяйство, и прочее, в гости не стыдно людей позвать, и, как говорится, к соседям не хожу муки на мамалыгу занимать.
«Да, это так, — думал я, — что касается хозяйства, это ты устроил. А дальше что? В искусстве ты что-нибудь создал свое?»
Словно угадав мои мысли, Парна продолжал:
— И в работе, не думай, я тоже кое-чего добился. Только для меня работа — это основа жизни, способ существования, и я не боюсь открыто говорить об этом. Да, так оно и есть. А чем прикажешь художнику еще зарабатывать? У него другого ремесла нет. И каждый сосет свое вымя, каждый наживается на своем.
Последние слова резанули меня по самому сердцу. «Конечно, профессия должна кормить человека, — подумал я, — но сравнивать искусство с дойной коровой — это уж слишком! Не может художник, как пиявка, только сосать, все-таки он живет головой, сердцем, а не одним желудком».
Но, конечно, вслух сказать этого я не мог. Слишком неравные у нас с Парной были, позиции.
А Парна продолжал, как будто заранее готовил речь, и теперь старался не упустить ни одного тезиса. Слова его гладко и убедительно сплетались, ложились одно на другое.
— Я по-настоящему близок народу. И понятен ему. Все говорят, что искусство должно быть народным. У многих ли так на деле? Погляди! А я — самый что ни на есть народный художник. Куда ни приди — везде мои картины: в чайной, в клубе, вплоть до скотного

двора. И я горжусь этим! Я и народ связаны так, как корни дерева и земля. Поэтому я твердо стою на ногах...
Он воздвигал себе целый словесный монумент.
Но меня это сейчас совсем не занимало. Я больше думал о своем. Ведь и разговор-то мы начали с этого. Но Парна, точно всадник, который потерял поклажу, привязанную к седлу, и не заметил этого, продолжал нестись, не останавливаясь, все вперед и вперед.
Наконец я не выдержал и робко спросил:
— А что же я?
— Что ты? — Парна с удивлением посмотрел на меня.
— Ну, мне-то как быть?
— Тебе? Я же сказал, мы тебе поможем. Дерево корнями стоит, а человек — человеком. Кем же мы будем, если не станем помогать друг другу!
— Спасибо, — пробормотал я, не зная, что еще можно прибавить к этому.
— Ну ладно, давай еще раз на прощанье искупаемся. — Он скинул с плеч рубашку и первый нырнул в воду. — Давай сюда! Ныряй! Вот здорово! Ещё лучше, чем днем!
Я тут же прыгнул следом за ним.
На Гумисту мы попали потому, что оказалось, оба любим больше купаться в реке, чем в море. Не знаю, откуда у него эта любовь, но я полюбил речку с детства. От нас ведь до моря было далеко, и поэтому там мы редко купались. Конечно, теперь я плаваю и в море и в реке, но если выбирать, выберу реку.
Она мне ближе, роднее.
Мимо моей деревни с редким именем «Амзача» * *(* Амзача — новолуние.)* протекает быстрая и холодная речка Аалыпста. Каменистое русло ее неровно, и вся она стремительна и напряжена, словно спина рыбака, забрасывающего с силой невод. И если залезешь там, где не положено, она как необъезженный конь, разобьет тебя, будь у тебя хоть сто жизней, все до одной отнимет. Когда глядишь на огромные камни, выпирающие со дна, кажется, что это раненые медведи, подстреленные охотниками в горах, спустились сюда, чтобы спрятаться, зарылись в бурлящий поток и выбивают из него тысячи брызг, похожих на серебряные монеты. В долине река успокаивается, течет тише...
В этой реке я учился плавать. Мы собирались с ребятами и шли пониже, где хоть и изредка, но уже попадались тихие заводи. А потом, когда подросли, лезли и выше и переплывали там, где было самое быстрое течение.
Искупавшись, на машине Парны мы поехали обратно в Сухуми. Быстро стемнело, и на столбах, стоявших вдоль шоссе, зажглись фонари — как будто кто-то рассыпал сверху горящие угли.
Машина ехала быстро, но плавно; шоссе было отличным. Когда въехали в еловую аллею, Парна включил радио и сам стал подпевать — все громче и громче, как будто хотел подменить тех, кто исполнял песню.
Когда слушаешь абхазскую застольную, если даже ты совсем не в духе и на душе у тебя груз тяжелее свинца, она все равно захватит, ободрит тебя, поднимет и унесет туда, куда пожелает сама. Так сделалось и со мной. Я почувствовал себя в своем родном Новолунии, в самый разгар свадьбы, за столом, среди веселых гостей...
— Оставим машину дома и поднимемся, на Сухумскую гору, поужинаем там, — сказал Парна,
— Не знаю...
Конечно, после купания было бы неплохо закусить, но мне было неловко из-за того, что у меня не было денег и за все платил Парна.
— Ничего, зато я знаю, Поедем. Конечно, лучше было бы у меня, но сейчас все разъехались, я один, дома ничего нет, поэтому пойдем в ресторан.
Парна провел меня по всему своему дому, заставив заглянуть в каждый уголок. Да, он не хвастался, когда говорил о своем достатке. То, что я увидел, даже превзошло мои ожидания. Пусть, так заживет тот, кто хочет мне добра и кому я хочу! А мастерская! Там

целой артели места бы хватило!
— Не стесняйся, будь как дома, — все повторял мне Парна. — Мастерская, считай, твоя. Когда хочешь, приходи и работай. Днем и ночью здесь двери тебе будут открыты.
Я, нищий, не имеющий копейки за душой, почувствовал себя так, как будто передо мной приоткрыли небесный свод и дали заглянуть в уголок настоящего рая.
Единственное, что я мог, — это поблагодарить Парну, и я, смущаясь, благодарил его, будучи похожим, наверное, на человека, которому поднесли вино в дорогом бокале, и он боится, как бы случайно не уронить и не разбить его.
На улице Парна остановил такса, мы сели и поехали на гору.
Ночной Сухуми пылал, как очаг большой семьи. Казалось, если нанизать на шампур мясо и повертеть над городом, оно сразу же поджарится.
А там, наверху, в самом деле жарили шашлык. В ресторане «Амза» — на самой макушке горы — как будто специально ждали нас. Парну тут, видно, хорошо знали, и как только мы вошли, официанты наперебой принялись приглашать нас. Парна шел важно, с достоинством, выбрал один нз столиков, который почему-то больше других понравился ему, и там мы сели.
К вам подошла молодая красивая девушка с уже раскрытым блокнотом. Парна, почти не глядя в меню, стал заказывать ужин. Девушка молча писала за ним, а через минуту стол уже был заставлен холодными закусками и в бокалы налито вино.
После ужина мы оба были в приподнятом настроении. Спустились вниз и долго гуляли по набережной, не желая расставаться. Но в конце концов все-таки надо было идти спать.
— Оставайся у меня, — предложил Парна.
Но мне почему-то уже хотелось попасть в свою каморку, и я отказался. Парна принялся уговаривать, мы заспорили. Я сказал:
— Я сейчас живу у таких родственников, пока не приду, никто из них не ляжет.
И только это убедило Парну.
Хорошее в этом знакомстве было одно: на следующий же день я начал работать. А еще через день у одного из въездов в город Сухуми появился новый плакат, который изображал кран, поднимающий груду ржавого железа, и был подписан таки словами: «Все, как один, включимся в сбор металлолома!»
Это была моя работа.

4

Парна сразу же взял меня в оборот. Схватил свои когти, как ястреб перепелку. Из него бы вышел хороший учитель. Маленькими толчками, незаметно он с головой втянул меня в работу. Сначала — плакаты, лозунги, потом мало-помалу заказы посерьезнее, и скоро в самом деле предложения посыпались со всех сторон.
Были и такие заказы, браться за которые мне совсем не хотелось, но, поскольку все они проходили через Парну, отказываться я не смел, боялся подвести своего наставника.
Наконец Парна предложил мне одну по-настоящему серьезную работу, которую мы должны были делать вместе с ним. Нас пригласили расписать снаружи Дворец культуры в одном богатом чаеводческом совхозе.
Мы с Парной сделали сперва эскизы, отнесли директору, и тот сразу же их утвердил.
С самого начала этой работы я не чувствовал со стороны Парны никакого желания поставить меня на второй план, сделать своей тенью; наоборот, где можно он старался лишний раз подчеркнуть мою самостоятельность, незаметно расхвалить мой талант. Мне казалось это несправедливым: все-таки он был и старше и опытнее меня во много раз. Тем более я удивился, когда Парна сказал, что договор на нашу работу будут подписывать со мной.
— Нет, — сказал я, — пусть лучше с вами, я же только первый раз...
— Это не имеет значения. Не стесняйся, ты сам художник...

— Но мне стыдно будет, если кто узнает, вы такой известный, а у меня ни опыта, ни имени...
— Вот поэтому и нужно тебе подписать. Чтобы привыкать к ответственности. И чтобы имя твое потихоньку наверх пробивалось. Мне-то уже не надо, а тебе как раз пора начинать.
Что ж, мне ничего не оставалось, как согласиться с Парной, в душе я был ему глубоко благодарен за такую заботу.
— Учись сразу угадывать, что человеку надо, — наставлял меня Парна. — Главное — угадать, а уж он потом сам тебя на руках понесет. А если будешь ему свое пихать, против воли, позовет он тебя другой раз?
Это была квинтэссенция житейской мудрости Парны. И на деле он умел применять свое правило очень хорошо. Парна сразу разглядел, что за человек директор Кансоу Халбад, выведал его увлечения, вкусы. Кансоу Халбад был уже видным руководителем, известным не только в Абхазии, но и за ее пределами. Ему требовалось что-то броское, с размахом, способное прибавить к его славе хотя бы еще частичку.
В этом направлении и пошел Парна, в таком духе были сделаны и наши эскизы. До того, как начать их, Парна посадил меня напротив и подробно рассказал все, что сам сумел узнать про директора, развернул передо мной чуть не целое досье: прошлое этого человека, настоящее, краткая история совхоза, примерные планы на будущее.
Здание Дворца культуры было выстроено на славу. Внутри уже закончили отделку, облицевали каким-то удивительным голубым материалом, так что посетитель чувствовал себя как на волнах прозрачного горного озера, в вестибюле висели портреты руководителей партии и правительства, все говорило о щедрости и широте «хозяина», а огромная надпись над входом «Добро пожаловать!» приглашала во дворец днем и ночью, так как вечером загоралась яркими, издалека видными огнями.
Дорога к зданию была обставлена с обеих сторон стендами, раскрывающими показатели совхоза по различным направлениям, таким образом, успехи совхоза были здесь представлены сразу и в цифрах, и в камне.
Наша роспись должна была стать самой последней, завершающей деталью этого ансамбля. Чтобы у человека уже не осталось никакого сомнения в том, что он попал в самое счастливое место во всем мире.
Дворец культуры стоял и так с видом льва, способного проглотить каждого; нам же надо было сделать его совершенно неотразимым, восьмым чудом света, расположенным во владениях Кансоу Халбада.
Согласно эскизу, фасад здания делился пополам, на одной его половине мы собирались изобразить «Девушку с цветком чая», на другой — конные состязания.
Меня почему-то сразу же стала занимать «Девушка». Что это будет за существо? С каким лицом? С какой фигурой?
Да, очевидно, не простой должна быть эта «Девушка с цветком чая». Должна собрать черты всех тех, кто работает на полях, и черты лучшие, главные. И цветок тоже должен быть необычным. Он ведь — как любят писать критики — раскроет внутренний мир сегодняшней девушки, а попробуй раскрой его через этот цветок, когда и так-то, просто, без цветка, еще неизвестно, раскроешь ли!
Вот тут и нужно острое чутье художника, только оно может подсказать, что и как сделать. А если этого чутья нет, тогда... тогда лучше сразу берись за другое занятие, в живописи тебе делать нечего.
Что ж, каким должен быть другой художник, это я себе представлял очень хорошо. Если бы даже по этому поводу потребовалось сделать большой доклад на каком-нибудь собрании, я бы легко встал и сделал. Но вот как мне, мне лично нарисовать эту «Девушку с цветком чая», я, честно говоря, не знал. Все-таки, что ни говори, а рисовать самому — это совсем другое дело, чем вести общие разговоры об искусстве.
Смогу ли я? Я, лично?

Вот этот вопрос мучил меня больше всего.
И, как нарочно, словно угадав мои мысли, Парна сказал:
— Девушку будешь рисовать ты.
— Как? Я?
— Да, именно. Тебе в самую пору — и по способностям, и по возрасту... Не мне же, старику, браться!
— Но я не знаю... смогу ли?
— Ты сможешь, ты и сделаешь. А я на левую сторону перехожу. Мне тут важнее быть, потому что, главное, сюда «хозяин» смотреть будет. Понял? — И у него обе брови многозначительно поднялись кверху, похоже на курки двуствольного ружья.
Я «понял». Я и про свою стену понял, хотя он про нее ничего не сказал. Что ж, буду стараться, все, что от меня зависит, я сделаю.
И мы с Парной начали работать.
Мы работали так, как будто ничего общего не имели друг с другом. Каждый делал свое без всяких советов и обсуждений. Только иногда Парна подбадривал меня, хвалил, видимо, чувствовал, что подсказки мне не помогут, а только скорее собьют с толку.
И дело шло. Пейзаж, фон, на котором должна была появиться «Девушка», скоро был у меня готов. Теперь очередь была за ней, за моей героиней, о которой я все еще не имел никакого представления.
Я много раз уже обошел чайные плантации совхоза и очертания их уже перенес на свою картину. Кто бы ни посмотрел на нее, все узнавали знакомые места и всем нравилось; похвалил меня за «природу» и Парна. Теперь на тех же плантациях мне предстояло найти «девушку», лицо, которое бы стало в центре моей картины.
И я начал искать.
Я увидел всех женщин, которые собирали чай, и молодых и старых. Было как раз время сбора чая, и я наблюдал их за работой. Девушки казались мне одна лучше другой. Вот эта, в широкой соломенной шляпе, как посмотрит из-под полей, и кажется, ничего искать больше не надо, рисуй сразу ее да и влюбляйся заодно. Но вот другая бросит взгляд — и стоишь без рук, без ног, не знаешь, куда себя девать, с какого слова начать. А третья подойдет, забудешь и ту и эту, новая красота — и новые чувства играют в тебе.
Кого же выбрать?
Вот теперь, Алхас Анба, если, ты художник, и выбери кого-нибудь из них и перенеси на свою картину.
Но кого же? Кого?
Посмотрел я, как работает Парна.
У него сюжет был совсем другой. Директор совхоза горячо увлекался конным спортом. И не просто со стороны, как увлекаются своими предметами болельщики футбола или хоккея. Нет, он предпочитал сам участвовать насколько мог в состязаниях. В детстве он был в своем селе одним из лучших наездников и теперь, когда стал большим человеком, завел в совхозе скаковых лошадей, поставил специальных конюхов и выступал в районе, почти на каждом состязании завоевывая почетные места.
Парна хотел во что бы то ни стало угодить директору, нарисовать так, чтобы тот не мог бы рта закрыть, глядя на картину.
На своей половине он уже изобразил сверкающие снегом горы Абхазии, их зеленые отроги, далекие деревни у подножия... В середине картины было большое зеленое поле, окруженное, как изгородью, множеством людей. А по полю летят скаковые лошади, и все люди на картине смотрят на них.
Одна группа коней идет почти вровень, другие чуть отстали от передовых, а кто-то плетется совсем позади, кажется, лошадь вот-вот собьется с шагу, сойдет с линии... Но кто-то должен вырваться вперед, это должно быть ясно по картине с первого взгляда.
Парна как раз рисовал передние ноги победительницы.
И уже по одним ногам было видно, что эта лошадь в самом деле оставит позади всех

остальных.
Что же за лошадь хотел изобразить Парна?
Об этом пока не знал никто, кроме него.

5

С того самого дня, как началась работа в совхозе, мы с Парной не появлялись в Сухуми. Там, в совхозе, и ели, и пили, и спали. Мне-то, как человеку одинокому, было все равно, где жить, но Парне в конце концов надо было показаться дома. Из-за этого мы и собрались в город, мне он тоже посоветовал сделать перерыв, отвлечься ненадолго, это бывает полезно для работы.
Мы приехали утром. Парна отправился к себе, я — к себе. Вечерам договорились встретиться в ресторане «Амра». Ресторан и в самом деле походил на пароход, в соответствии со своим названием. Весь белый, прямо над водой, казалось, он только, что приплыл издалека и манил своим экзотическим видом.
Мы сели на втором этаже, здесь крыши не было, от солнца и дождя защищали только стоявшие над каждым столиком зонты. Сейчас их сложили, и прямо над нами горело звездами глубокое южное небо.
Казалось, над морем повисла огромная, в миллионы огней, люстра. Она отражалась в лениво колыхавшихся волнах, и там огоньки походили на золотых пчел, которые копошатся, увязая в миске с медом.
Дул легкий ветерок, он разгонял нагретый за день воздух, и в лицо дышало попеременно то жаром, то прохладой. Из-за того, что помещение было открытым, голоса не сливались в один общий гул, как обычно в ресторане, доносились из-за соседних столиков еле-еле, точно все нарочно приглушили свои разговоры.
Парна то и дело озирался по сторонам, как будто ждал кого-то, и сначала даже говорил рассеяно, оканчивал свои фразы вместо точек запятыми.
— Ну вот, сейчас здесь закончим — и дальше, мне уже обещают кое-что еще...
— Хорошо... — безразлично ответил я,
— Ты вроде недоволен!
— Нет, доволен!
— А что вид такой кислый?
У меня действительно было какое-то странное настроение.
Отчего?
Все пока так складно получалось: только кончил учебу — и сразу удача, работа, такой прекрасный товарищ... Но в этом было и что-то дурное. Что — не мог понять, не хватало еще опыта в жизни, но что-то было явно не так, это я чувствовал. Уж слишком легко я насытился; казалось, один случайный поворот — и снова окажешься пустым, как перевернутый кверху дном кувшин.
— Ничего! — заговорил снова Парна. — У нас еще много дел впереди. Посмеемся и попляшем! А для чего еще жить!
— Да, вам хорошо!
— Нам обоим будет хорошо, почему отделяешься? У кого дело, общее, у того и радости одни, а горе будет — не беспокойся, и горе поделим!
— Конечно, я верю, — ответил я поспешно.
— Да... Главное, сейчас нам с этим совхозои разделаться: А там...
— Что?
— А там все будет как надо, еще покажем кой-кому, как надо работать! Ну, давай за наши успехи! До дна пей, до дна, скорей развеселишься!
Я выпил залпом свой бокал. Это уже был третий за то время, как мы здесь сидели. Но я знал, что Парна не заставит выпить лишнее. Он сам пил в меру, чтобы чуть разойтись, оживить разговор, на этом все его отношения с бутылкой и кончались.

Вдруг я увидел недалеко от нас маленького человечка, вертевшегося между столиками и напоминавшего дрозда-чистюлю. Что-то в его опрятной фигурке показалось мне знакомым. Я напряг свою память, но, не видя его глаз, не мог припомнить, кто это такой. Наконец человечек нечаянна повернулся ко мне, глаза наши встретились, и тут же мы узнали друг друга.
— Киач! — радостно воскликнул я.
— Хо, Киач! — повторил следом за мной Парна, поглядев туда же, куда глядел я. Но в его голосе прозвучала обидная нотка насмешки.
— Присядь к нам хоть на минуту! — Я вскочил ему навстречу, загораживая дорогу.
— Сиди, сиди! — Киач поспешно подошел и пожал мне руку.
— Садись, будь гостем, — поддержал меня Парна.
— Спасибо, некогда, спешу!
— Садись, садись, — Парне захотелось проявить свою власть,
Киач подошел ближе к столу, но все равно не сел. Я налил вина и подал ему.
Киач взял бокал, по обычаю поклонился нашему столу и, глядя куда-то в сторону, забормотал скороговоркой здравицу. Смысл ее мы не могли понять. Так же неожиданно, как начал, Киач остановился, выпил вино и бережно поставил бокал на место. Я предложил ему ломтик сыра. Поблагодарив, Киач съел сыр. После этого, когда ему показалось, что долг вежливости уже выполнен, Киач приложил правую руку к голове, еще раз поклонился и отошел от нас.
— А ты откуда знаешь его? — спросил Парна.
— Киача? Мы в первый день познакомились, как я сюда приехал. Вот добрая душа. Взял и ни с того ни с сего донес мне вещи. Как будто я друг ему или родственник..,
— Да, Киач неплохой парень. Днем носильщиком работает, вечером бегает по городу — тому помочь, этому донести. И не пьет почти, так, рюмку-другую, я его ни разу пьяным не видел. Хороший парень. Только простоватый слишком. А в общем, в душе все его любят.
— Да, я так о нем с первого раза и подумал...
Тут подошла официантка и поставила на наш стол две бутылки вина.
— Вам от Киача.
Я было удивился, но Парна сказал:
— Я знал, что пришлет. Видишь, маленький какой — а гордый. Ни от кого не примет никакой услуги, а сам готов услужить каждому.
Я старался глазами найти Киача среди сидящих наверху, но его уже не было. Отплатил за угощение — и ушел, чтобы не мозолить глаза.
Я был бы рад встретиться с ним еще раз. Такое чувство он внушил мне.
А Парна между тем все продолжал ждать кого-то. Он без конца заговаривал со мной, не давал мне задуматься ни на минуту, но я чувствовал его беспокойство, только старался не подавать виду.
Вдруг он вскочил, словно его укололи шилом, бросился кому-то навстречу. Через минуту вернулся, ведя под руку женщину, довольно молодую.
— Познакомьтесь.
— Галина. — Она протянула мне свою руку, — Галина Беркер.
— Алхас. Алхас Анба.
Галина оглядела меня с ног до головы и села. Мы с Парной опустились следом за ней. Она вытащила из сумочки сигареты, одну сразу же вынула из пачки, Парна зажег огонь и протянул ей. Галина не сказала спасибо, только кивнула. Глубоко втянула дым, как следует пропустила его через все свои внутренности и выпустила прямо мне в лицо.
Парна сделал знак официантке принести еще один прибор.
— Что-нибудь поешь, Галина?
— Да нет, вы продолжайте, обо мне не думайте, я на ночь вообще не ем ничего.
— Ничего, мы сейчас что-нибудь такое найдем, что и на ночь можно... Может, рыбу?
— Ну, форель, если есть...

— А куда она от нас денется? Если даже ловить придется, что мы, двое мужчин, даром здесь сидим? — Против моего желания Парна зачем-то и меня объединил с ними.
Подошла готовая принять новый заказ официантка. Парна заказал форель.
— И кофе в конце, как обычно, — добавила Галина, давая этим понять, что здесь ее хорошо знают.
Официантка ушла.
— Так ты про него мне говорил? — спросила с ходу Галина, кивнув головой на меня. — Новый художник... Как ты сказал?.. Алхас...
— Анба, — подсказал Парна.
— Да, да, Алхас Анба, — сказала она так, точно от нее зависело, носить мне дальше это имя или нет.
— Прекрасно... Значит, вместе с ним работаете?
— Да, — ответил Парна.
— Замечательно... Ну и как, нравится работа, Алхас?
— Да, нравится, — я невольно потупил глаза.
— Это прекрасно, когда работа нравится. Тогда она всегда выходит удачно.
Решив, что мне уделено достаточно внимания, Галина снова повернулась к Парне:
— Скоро кончаете?
— Скоро. Дней десять, думаю, в любом случае хватит.
— Прекрасно.
— Нет, десяти не хватит, — вмешался я,
— Хо, ты больше знаешь, да? — воскликнула Галина.
— Почему же не хватит? — более мягко спросил Парна.
— Я свое за десять дней не успею.
— Ну, ничего, я помогу.
— Уж я думаю, как-нибудь кончите вдвоем.
— Дело не в этом... Я не знаю...
— Что вы не знаете, позвольте узнать? У вас какие-то сомнения? Вам одного помощника мало? Если надо, и я приду...
— Нет, просто за десять дней я не успею... Мне еще надо подумать. Я не могу кое-как...
— Научишься.
— Никогда!
— Очень скоро. Другого выхода нет.
— Нет, есть!
— Нету!
— Есть, неправда!
— Тише, тише вы, — испуганно замахал руками Парна. — Не спорьте, вы оба правы, просто не понимаете друг друга...
— А что он там рисует, интересно? — спросила Галина уже спокойнее, как будто поняла, что ей не надо идти на ссору. — В самом деле, что-то необыкновенное?
— Да нет, ничего особенного: девушку с цветком чая. Уже все готово, фон есть, осталось только ее...
— Что же там трудного? Что там такого, что за десять дней не управиться?
— Для меня есть что. Для меня трудно.
— Девушку? Парна, что ты не намалюешь?!
— Нет, я должен только сам, этого я никому не отдам. Напишу именно так, как хочу.
— Ради бога! Прекрасно! Я с тобой больше не спорю, только хочу одного, чтобы вы немного поторопились, потому что у вас впереди такая работа, из-за которой кое-что можно и отложить.
— Ладно, поторопимся, поторопимся. Не бойся. И ту, и эту успеем.
— Вот это разговор, я понимаю, с него бы и начинать.
Они заговорили между собой, не обращая на меня уже совершенно никакого внимания.

Предметом их разговора была эта новая работа, с их слов я понял, что она сулила нам какие-то небывалые барыши. Но прямо ни Галина, ни Парна так в этот вечер не сказали мне ничего.
Мы договорились с Парной о завтрашней встрече, распрощались и разошлись.
Когда я проходил мимо гостиницы «Абхазия», то услышал вроде знакомые голоса. Неужели из нашей деревни? Я подошел к говорившим поближе и увидел, что не ошибся.
— Алхас! — Они обрадовались встрече не меньше моего. Каждый за руку поздоровался со мной. Оказалось, что они приехали в Сухуми на слет передовиков сельского хозяйства.
Больше всего я рад был увидеть Абаса Назбу. Почему? Он напомнил мне... Он мне напомнил, о чем я, кажется, и так все эти годы не забывал. Но сейчас мысли нахлынули с новой силой. Я пришел в свою каморку, лег, уставился в потолок и уже не мог перевести взгляда, так и лежал, не двигаясь, словно оцепенел.
Но видел я не потолок. Я видел девушку. Она стояла перед моими глазами.
Ада Назба.
Есть ли в мире девушка лучше Ады Назба? Есть ли кто с таким лицом, как у нее, с такой душой?
Нет и не будет!
Потому что Ада — одна. Хороших девушек полно, в этом я уверен, но подобной — нет, хоть пройди весь мир с начала до конца.
Во всяком случае, ни с кем из наших ее не спутаешь. Куда бы ни приходили девушки, что бы ни делали, она всегда была первой среди них, словно луч солнца, спустившийся на землю. И так думают о ней все, и если даже не признаются вслух, то в душе-то все равно, я знаю, испытывают одно и то же чувство. А если найдется такой, кто думает иначе, пусть он только появится передо мной! Но мне кажется, такого человека не может найтись на свете.
Я могу сказать, что я люблю Аду. Но вместят ли эти слова все, что я чувствую по отношенш ней? Нет, и сотой доли не вместят.
Я знаю, что нарушаю абхазский обычай, говоря тебе, читатель, о моей любви к Аде, но, может, меня простит то, что я сейчас далеко от своей деревни; конечно, там, в Новолунии, я не осмелился бы всего этого сказать, но здесь, в Сухуми, я могу пересилить свою робость... Ведь без нее просто немыслима моя жизнь...
Да, я так к ней отношусь. А она?
Может быть, меня даже и нет в ее мыслях?
А может, она, так же, как и я, не спит сейчас, думает обо мне?
Охваченный то грустью, то надеждой, лежал я целую ночь с открытыми глазами, и лишь под утро, когда уже начало светать, сон заботливой рукой прикрыл их и повлек меня куда-то прочь по невидимому склону.

6

Со следующего дня мы снова работали в совхозе.
Вернее, работал один Парна. Я же продолжа искать свою модель, думал, напрягал все свое воображение, чтобы мысленно представить прообраз моего будущего творения.
Я с удивлением заметил, что и на Парну напали сомнения, он стал задумываться, что-то искать, переделывать, такого прежде с ним не бывало никогда. Что ж, видно, и у мастеров не все получается.
И вдруг я бросился к своей картине. Внезапно. Неожиданно даже для самого себя.
Как будто просто пришло время начать — и я начал. Рука задвигалась легко и послушно, в точности следуя образу, вспыхнувшему в моем сознании.
Мне казалось, не я нашел эту девушку, а она меня, явилась издалека и, как живая, взошла на стену дворца, чтобы я мог там обвести ее своими красками и запечатлеть облик ее навечно.

Теперь работа у меня пошла. Я целыми часами не сходил с места, делал только небольшие перерывы для еды и для отдыха, но едва чувствовал себя способным работать, как снова хватался за кисть.
И у Парны, кажется, тоже дело наладилось. В один из перерывов я подошел взглянуть на его картину. Парна уже совсем заканчивал. Видно было, что на этот раз он не пожалел сил, постарался от души и даже, как мне показалось, пошел дальше того, чтобы просто угодить обожающему лошадей директору. Что касается переднего коня, он вообще был выше всяких похвал — летел как птица, и даже нарисуй его Парна позади других, все равно было бы ясно, что приз возьмет этот.
Я не смог скрыть восхищения и тут же поздравил с успехом Парну.
— Да? Хорошо, говоришь? Вроде, правда, получилось, как я хотел... Теперь главное, чтоб и другим понравилось...
— Всем понравится, обязательно, я вам говорю!..
— И ему, думаешь?
— Кому?
— Как — кому? Чья лошадь впереди...
— Так это директорская?
— А чья же! Пусть враги наши лопнут, как она похожа! Или я ничего в этом деле не понимаю! Должен узнать, побей меня бог!
— Узнает, конечно, если вы говорите!
— Ну ладно. А у тебя как дела? Помочь не надо?
Мы перешли на мою сторону.
— Да я вижу, ты мастер и сам! Молодец! Девушка лучше всего получилась, я уже вижу. Дашь ей цветок, и будет прекрасно.
В этот день я дорисовал все, что мне оставалось.
В самом конце Парна подошел еще раз:
— Хорошо, очень хорошо, Алхас, поздравляю! Твоя красавица кого хочешь с ног свалит, лучше и придумать нельзя!
Я и сам смотрел на нее, не отрывая глаз. Но если получилось у меня что-то, только благодаря ей, этой девушке, чей портрет был сейчас передо мной.
И она, кажется, была рада моему влюбленному взгляду, тепло и нежно отвечала мне, словно не хотела, чтобы я смотрел кроме нее на кого-то еще.
Эта девушка была Ада Назба.
Но пока кроме меня об этом не знал никто. Ни один человек на свете.
Пришел директор. Сперва он остановился на моей стороне. И ему девушка с цветком понравилась. Я даже не рассчитывал на такую щедрую похвалу, какой он наградил меня. Но самое сильное впечатление на него произвела, конечно, работа Парны.
— Ай, Парна! Ай, Парна! Сделал, но что сделал! Это же Тоукан впереди, клянусь матерью! Молодец, Парна!
Парна был, кажется, тоже на вершине счастья:
— Да, потрудились как следует, ничего не скажешь! Ну, теперь дело за мной! Где мы отпразднуем, а, Парна? Давайте-ка прямиком в Мерхеули * *(* Мерхеули — село под Сухуми с известным летним рестораном.)*. Сегодня вы мои гости. Сейчас же! Немедленно!
Через минуту машина уже мчала нас по горной дороге.
Пировали мы долго, в Сухуми приехали только поздним вечером.
Когда я проснулся на следующее утро, на улице шел проливной дождь.
Капли так громко стучали по крыше, что в первое мгновение мне показалось, какие-то люди пляшут на крыше, и я даже испугался, что вот-вот проломят ее и упадут прямо мне на грудь.
Через двадцать минут я уже был на улице. Дождь перестал, но, ручьи все еще текли по дороге. Перепрыгивая через лужи, я добрался до набережной — в том месте, где Басла

впадает в море. Тут морская вода была мутной, муть уходила вперед широкой полосой, но по бокам вода прозрачно синела, как будто еще больше очистилась после дождя. Море было спокойным, лениво поплескивало у берега, точно не совсем еще проснулось, лежало в постели, ворочаясь под синим покрывалом.
Как море действует на человека! Какой бы ты ни был измученный, усталый, проведи немного времени на берегу, и море снимет все как рукой. Когда смотришь на бесконечную морскую гладь, душа как будто становится просторней, мысли шире. Только глядя на море, начинаешь верить, что земля необъятна...
День совсем прояснился, исчезли ручьи, и скоро высохли на солнце последние лужи. Как будто и не было дождя! Такое абхазское небо — вымочит насквозь и само же в минуту высушит.
В вышине горело солнце, рассыпало на землю лучи, как зерна кукурузы, а воду вышивало золотыми, подрагивающими кружевами.

В кафе «Апсны» было точно так же, как и в прошлый раз, когда я зашел сюда по приезде из Тбилиси. Опять оно походило на пасеку со множеством гудящих ульев. И сидели всё те же люди, почти не изменив своих поз. Кажется, единственным новым человеком был здесь Парна.
С удивлением я увидел рядом с ним Киача. Они вдвоем заняли столик в глубине и о чем-то негромко, но, кажется, горячо разговаривали, даже не заметили, когда я подошел.
— Будь добрым ваш разговор! — поприветствовал я.
— И тебе видеть хорошее!
Не успел я усесться, как в кафе вошла, на сей раз особенно изысканно одетая, на высоких каблуках, Галина Беркер. Мы все трое вскочили со своих мест.
— Садитесь, — великодушно разрешила она.
Мы сели.
— Кофе? — спросил Парна.
Галина молча кивнула головой.
Парна стал искать глазами официантку.
— Давно меня ждете?
— Нет, — поспешно ответил Парна, — недавно, Алхас тоже только что пришел.
В это время из-за соседнего стола поднялись двое мужчин и взялись за свои чемоданы. Киач вскочил, не говоря ни слова, и бросился к ним.
— Правильно, займись своим делом, — проворчала Галина.
Мне почему-то стало неприятно от этих слов.
— Ну что, развязались со своим совхозом?
— Да, целиком, — ответил Парна.
— Ну и прекрасно. Самое время браться за дело.
— Правда, уже пора.
— Ты как, Алхас, насчет новой работы, в порядке?
— Я?
— Да, ты, сынок.
Сынок? Мне не понравилось это обращение. Пусть она старше меня, но она же мне не мать, и не сестра матери, и вообще никакая не родственница, чтобы так называть. С какой же стати этот «сынок»! Но я не решился ничего сказать, только ответил:
— Да вроде в порядке...
— Ты здесь главное действующее лицо.
— В каком смысле?
— В прямом
— Я что-то не понимаю...
— Мы для тебя нашли работу.

— Да, спасибо, но мы же вместе...
— Мы с Галиной хотим сделать больше для тебя, гораздо больше, чем ты думаешь.
— Я даже не знаю... Что вы сделали для меня...
— Это не имеет значения, просто я помог тебе как старший брат по ремеслу. А то, что ты будешь делать сейчас, это все Галина. Она нашла заказ и хочет его дать тебе. Правда, Галина?
— Абсолютная правда.
— А что за работа, что мне надо будет нарисовать?
— Пок только одно: свою подпись.
Я показался себе похожим на того парня, которого решили женить, но не дали даже взглянуть на невесту. Что за работа? Какая? Где? Что я должен подписывать? Может, и правда, работа хорошая, но почему они решают все за меня? Сам я не могу думать, что ли?
— Я даже не знаю... — нерешительно проговорил я.
— Зато я знаю. Поэтому тебе и говорю. Тебе это надо сейчас, необходимо. Понимаешь?
«Может, действительно так оно и есть? — подумал я. — Что тут ломаться? Они же старались для меня, искали...»
Мимо проходила официантка, и Галина остановила ее:
— Еще кофе, пожалуйста.
— Больше ничего не надо?
Парна поглядел на меня.
— А нам, может, что-нибудь покрепче?
— Нет, я не хочу, спасибо.
— Ну, тогда и я не буду. Один кофе, больше ничего.
— Да, счастливый ты парень, Алхас, — заговорила снова Галина.
— Почему?
— Видишь, как тебе везет: только учиться кончил, сразу тебе работа, все само в руки идет...
— Ну, это вам спасибо...
— Хорошо хоть, что понимаешь.
— Алхас не такой, чтобы не понимать. Я вижу, я в нем не ошибся...
— Счастливчик! Раз-два, и скоро совсем на ноги станешь... Куча денег будет...
— Мне денег не надо.
— Ничего! Во вкус войдешь, тогда понадобятся! Какая жизнь без денег!
— Бывает, они, наоборот, жизни мешают.
— Ну да! Кто это тебе сказал?! Запомни, деньги в жизни никогда не мешают.
— Они разрушают все!
— Они созидают! Деньги — это самое главное.
— Даже если из-за них теряешь душу?
— У кого карман полный, у того и душа полная.
— А совесть?
— Не беспокойся! Карман крепкий — и спина будет твердая!
— Нет, нет, это не так!
— А ты откуда знаешь? Таким богатым был?
— Я чувствую.
— Ребенок! Просто еще о жизни не думаешь.
— Я думаю!
— О чем же?
— О том, чтобы ясно видеть перед собой завтрашний день.
— С пустыми карманами?
Видно, было, что Парну не интересовали подобного рода разговоры. Что спорить! Для него жизнь была как необъезженная лошадь, которую надо заарканить и укротить, что он,

кстати, давно и сделал. А споры, философия — пусть этим занимаются другие!
А я? Что я могу? Говорят же, надо ставить ногу туда, куда советуют, иначе можно полететь вниз головой!..
— Давайте лучше о деле. Послезавтра здесь, перед гостиницей, встречаемся и тогда сразу оформим все, что надо. А теперь нам пора, прощай, Алхас.
— До свидания.
Только они ушли, в кофейню вернулся Киач.
— А эти ушли? — спросил он с ходу.
— Только что.
— Ну, и скатертью дорога. Давай присядем.
Я тоже хотел уходить, но решил задержаться с Киачем, все равно делать было нечего.
— Терпеть не могу эту Галину.
— Почему?
— Все в ней — ложь на лжи!..
— Ну почему! Может, она с виду как-то...
— А ты знаешь, что у Парны семья?
— Знаю, ну и что?
— А то, что она с ним крутит...
— Она? С ним?
— Да про это весь город знает!
— Мне даже и в голову не пришло... А у нее разве нет мужа?
— Был. Да ушел. Выжила его — не только из дома, из Сухуми... Не беспокойся, я ее знаю как облупленную...
Мне стало очень неприятно от того, что сказал Киач. Он и сам это заметил и тут же оборвал неловкий разговор:
— Я вас бросил тогда, даже не заплатил... Мне надо было, извини...
— Ничего, я заплатил за всех.
— Ну, теперь моя очередь. — Он поманил официантку. — Коньяк «Абхазия» и все, что полагается...
— Не надо, Киач, прошу тебя!
— Я луч ше знаю. Спокойно.
Девушка не заставила его повторять дважды, повернулась и ушла.. Волей-неволей пришлось подчиниться.

8

Я шагал по людной улице, и вдруг во впереди идущем человеке мне что-то показалось знакомым. Я даже не мог понять что, я видел одну его спину, походку, но все равно каким-то десятым чутьем почувствовал, что ой — из Новолуния.
Я пошел следом за человеком. Навстречу тоже двигались люди, и я никак не мог обогнать его и заглянуть в лицо. Неожиданно он остановился у прилавка с книгами, повернувшись ко мне в профиль. Я тут же узнал его.
—Абас! — радостно закричал я, ибо это и был Абас Назба.
Мы пожали друг другу руки.
— Опять приехал? Надолго?
— Не знаю еще.
— Какие-нибудь дела?
— Да, дела... А ты не был дома?
— Нет, как съездил в тот раз, больше не был.
— А-а... Значит, не был...
— Почему ты спрашиваешь, Абас, что-то случилось?
— Да нет, в общем, ничего... Я просто думал, ты знаешь... Дело в том, что мы с Бадзом,

как тебе , сказать, ну, немного поссорились...
— Нет, я ничего не слышал!
— Ну да, конечно, ты же не был дома...
— А из-за чего вы поссорились, Абас?
— Да дело тут даже и не в Бадзе... Просто он как глава семьи... Я, собственно, с ним ссориться совсем не хотел...
— Скажи толком, Абас, я ничего не понимаю.
— Вот я тебе и говорю... Лично у нас с Бадзом не было ничего. А все из-за Цару...
— А она при чем?
— Вот в ней-то все и дело. Цару не хочет работать в колхозе. Мы ей сто раз говорили, она — нет, ни в какую, торгует фруктами. Возит мандарины то в Москву, то в Ростов, то еще куда-то... На нее другие смотрят и тоже работать не хотят... Так скоро и колхоз развалится!..
— Ну, а у тебя-то что с ней?
— Мы вызвали ее на собрание, обсудили, я выступил, теперь они с Бадзом готовы меня живьем съесть...
Да, все это было очень неприятно. Некоторое время мы молча стояли друг против друга.
— Ну ладно, ты не забывай нас, Алхас, — сказал Абас наконец, — приезжай, всегда рады будем.
— Спасибо, приеду обязательно.
На этом мы и расстались.
«Почему всегда с этой Цару неприятности! — думал я. — Как только отец женился на ней, так и пошло. Надо было вовремя ее на место поставить. А отец не сумел. Вот она и стала хозяйкой в доме. А теперь уже что сделаешь?..»
Я решил, что надо съездить в Новолуние, хотя бы на день. Но вышло по-другому. Отец опередил меня, сам приехал в Сухуми.
С первой же минуты нашей встречи он заговорил про Абаса, да с такой злобой, какой я и не видел никогда в нем.
— Отец, можно ли так человека ругать! Что он тебе сделал?!
— Спроси лучше, что он не сделал! Он хочет из рук вырвать тот кусок, который мы своим потом зарабатываем, ограбить, как разбойник, среди бела дня!..
— Как это?
— Как? Был он неплохим парнем, пока не стал председателем. А тут сразу — шкуру перевернул и пошел нас вязать по рукам и ногам.
«Вот оно что, оказывается, Абас уже председатель! А я еще подумал, что он-то с Цару связывается! Мой ровесник, и вот уже — председатель! Хорошо, он парень честный. Немного только нос раньше задирал, но, наверное, старше стал — исправился».
— Но скажи все-таки, что он у тебя отнял?
— Еще хуже, чем отнял! Вызвал Цару на собрание и перед всем селом последними словами отделал! Мол, в колхозе не работаешь, неизвестно на что живешь, бездельница, спекулянтка!
— А почему она не работает?
— Почему... Мало ли почему! Ей надо иногда отлучаться, она женщина и все такое...
— А другие женщины как же?
— Почем я знаю про других!
— Нет, так нельзя, отец. Тут же дело не в личных счетах, а в справедливости!
— Справедливость! Самогон запретил гнать! Всю жизнь дома из гнилья водку варили, Цару на станции продавала, теперь и это нельзя! Говорит, аппарат отберу! А ты его покупал? Ты его привозил? Отобрать-то легко, что другие своим горбом наживали! Сахар Цару в магазине не дают, говорят, Абас запретил, она из него водку гонит! Да чем такая жизнь, лучше вообще уйти куда глаза глядят! Все хотят отнять, все запретить!
— Никому же нельзя, отец...

— Это ты меня учишь? Ты? Сговорились со своим Абасом, умнее других хотите быть? А мы жизнь прожили — вас не спросили! Вас вырастили, дураков!..
— Не кипятись, отец. Ты же знаешь, времена меняются. Абас прав. Не могу же я заступаться за тебя только из-за того, что ты мой отец! Ведь есть еще и совесть...
— Значит, я один не прав? Я? Вы все совестливые, а я бессовестный?..
— Не ты виноват, виновата во всем Цару...
— Что она сделала тебе плохого? Она же все для нас для всех старается, для нашего дома... Не себе, понимаешь, а нам, нам всем...
— Я понимаю. Но нельзя за своим двором ничего не видеть. Уже давно так люди не живут...
— Ну кому она зло делает, что водку продает! Просто Абасу не дает покоя наш дом, вот и все...
Я почувствовал, что ничего не могу объяснить отцу, и от этого сделалось мне грустно. И его взгляд тоже охладел, стал вдруг непривычно отчужденным...
Но мне было грустно вдвойне: ведь война с Абасом отдаляла от меня и Аду. Ведь они брат и сестра. Случилась ссора, а кто нам поможет установить мир? Кто?
...Утром я спрятался за деревом возле тропинки, ведущей от ее дома. Стою и жду. Жду девушку, имя которой втайне повторял миллионы раз. Сердце мое — как ходики. Я раньше вообще не замечал, как оно стучит. А тут не могу унять его, боюсь, вот-вот выпрыгнет, разорвет грудь. А время идет и идет, и чем дальше, тем сильнее бьется мое сердце.
И вот — точно чудо случилось — показалась она. Идет быстро, но спокойно, ничего не подозревает... Вот она уже совсем близко, чуть-чуть, несколько шагов до того места, где стою я.
Сердце, кажется, первое прыгнуло, а следом за ним оторвался от дерева и я, перелетел через ров и очутился прямо перед ней.
Она вскрикнула и отскочила назад:
— Ой, кто это! Кто?
— Я, Ада, я!
— Как ты меня напугал!
А я и сам перепугался еще больше, чем она. Стою и не знаю, что сказать.
Потом мы повернулись и пошли вместе в школу.
— Как я перепугалась! — сказала снова Ада.
— Чего испугалась, меня?
— Ты так быстро выскочил! Так больше не делай никогда!
— А я сделаю! Завтра сделаю.
— Тогда я обижусь на тебя.
— Нет, Ада, не обижайся!
— А зачем ты спрятался? Чтобы напугать меня?
— Нет...
— А зачем?
— Ну, так просто...
— Зачем?
— Так... Чтобы встретить тебя...
Я пожал плечами и больше ничего не смог сказать. А хотел я сказать очень много. Но за всю дорогу до школы так и не сумел ничего поделать с собой. Словно в горле у меня застряло что-то и не давало говорить.
И все-таки это был смелый поступок. Первый шаг, самый трудный, я сделал. Я встретил ее, и между нами теперь было гораздо больше, чем просто между знакомыми из одного поселка.
Ада тогда училась в восьмом классе, а я в десятом. Она жила на одном конце, я — на другом. В школу мы ходили по шоссе, но добирались к нему разными тропинками.

Теперь я каждый раз приходил к дереву, поджидал возле него Аду, и дальше шли вместе. Скоро мы оба привыкли к этому, и нам уже казалось, что так было всегда. Я чувствовал себя счастливым, когда шел рядом, с ней.
А она?
Наверное, и ей нравилось со мной. Она всег была живой, говорливой, торопилась рассказать мне все, что случилось за прошедший день. Да, нам было хорошо друг с другом, и эта дорога, наверное, останется во мне навсегда как одно из самых лучших воспоминаний.
Но время шло, время летело, как лихой кавказский иноходец. Кончился мой десятый класс, кончилась школа, у нас, у выпускников, последний торжественный вечер. И из других классов тоже пришли попрощаться с нами. В зале Ада сидела впереди меня. Я не знал, как заговорить с ней, было неудобно. А до этого не сумел, так и не решился завести речь о том, что не давало мне покоя. Ведь теперь мы уже не будем вместе ходить в школу. Если даже я и приду сюда когда-нибудь — только как гость, как чужой. Значит, и эти ежедневные встречи тоже должны кончиться. Ведь не смогу же я на виду у всех каждое утро без дела выходить из поселка только для того, чтобы проводить девушку до школы. Что о ней начнут тогда говорить?.. Хотя здесь, в
Новолунии, мы бы еще придумали, где нам встретиться, ну, а если я уеду в другой город — дальше учиться? Тогда как?
Я. поборол свою робость и написал ей записку: «Сегодня вечером после собрания не уходи. Подожди меня. Алхас».
Тут же мне пришел ответ. В нем было одно слово: «Хорошо».
Я провожал ее домой. Мы шли медленно, часто останавливались, не торопились расстаться.
— Странно, — сказал я, — мне так хотелось скорее закончить школу, дни считал, сколько осталось, а теперь жалко даже, что все кончилось, не хочел из нее уходить...
— Да, тебе хорошо! А мне еще целых два года учиться!..
— Это чепуха! Два года знаешь как быстро пройдут! Мне тоже казалось, никогда не кончится, а проскочило все — даже не заметил как... Правда, лучше бы еще поучиться...
— Ты теперь где хочешь можешь учиться. Ты свободный!...
— Еще поступить надо!
— Поступишь, лишь бы сам захотел... Ты все в академию свою собираешься?
— Да... Я уж так решил...
— В Тбилиси здорово! Я там один раз только была, мне так понравилось! Счастливый ты!
— Это если поступлю. Думаешь, так просто?
— Ты пройдешь, я знаю, это уж точно... Будешь в Тбилиси жить...
— Конечно, я тоже надеюсь...
По правде сказать, я-то верил наверняка, что поступлю, но перед Адой мне хотелось изобразить все серьезнее, сложнее, чем представлялось самому.
— Про нас про всех забудешь...
— Не забуду! Никогда!
— Это ты сейчас так говоришь... Разве Тбилиси на Новолуние похож? Там все по-другому...
— Нет, тебя, я не забуду!
Она вздрогнула от этого слова и быстро посмотрела на меня.
— Тбилиси... Это сейчас тебе так кажется...
— Вот увидим! Подожди! Дай только отучиться!
Ада поглядела на небо.
— Какая сегодня луна! Я такой яркой никогда не видела!
— Мы же в Новолунии, не зря так назвали!
— Да, луна в Новолунии. Ни на что не похожа. Знаешь, а мне еще нравится, как солнце всходит. Я каждое утро смотрю, и каждый раз не так. Обязательно что-нибудь другое

появится. Ты сам не замечал?
— Конечно, замечал.
— Такого солнца красивого, как у нас, тоже нигде нет...
Мы долго шли, за это время, наверное, можно было три раза сбегать в школу и обратно. Только у своего дома Ада вспомнила, как уже поздно.
— Ой, мне сейчас и дверь не откроют!
— Да не бойся, вечер же был!
— Нет, нет, я побегу!
— Ада! — крикнул я ей вслед, но она уже скрылась в саду за калиткой.
А я еще долго стоял. Все надеялся, вдруг она увидит, что я здесь, и выйдет. Но она, конечно, не выходила. Наконец я повернулся и пошел домой.

9

Уже шел я на собрание с нехорошим чувством, но того, что там услышал, по правде говоря, не ожидал.
Нас встретили явно враждебным гулом. Я еще не разбирал, что говорили, но уже ясно было: ничего хорошего тут нам не скажут.
Мы втроем — я, Галина и Парна — выполнили уже порядочно заказов. Деньги делили на троих, хотя договор, как правило, подписывали со мной одним, якобы для роста моей популярности, как говорил Парна. И действительно, популярность моя выросла настолько, что прослышали наконец в Сухуми, и вот — позвали сюда, на это собрание. Пригласили заодно и Галину с Парной.
— Мы-то тут при чем? — то и дело пожимала плечами Галина. — Бумаг никаких не подписывали, денег от колхозов не получали...
— Помогали просто парню, — вторил ей Парна, — делились, так сказать, опытом...
— Хорошо вы ему помогли, чтоб вам пусто было, сбили с толку человека, не успел на ноги стать!
— Ну, так тоже нельзя! Ему не пять лет! Сам должен думать! Видел, на что шел! А Парну мы давно знаем...
— Как не знать! Еще бы! Свет не видел таких проходимцев!..
— Они же не чужое брали... Зарабатывали... Кто как может...
— Не чужое? Ты уверен? Значит, мы дураки все, по три месяца заказы ждем? Или вроде как пасынки — сбоку припека?
— Давно пора в мастерских порядок навести. Куда Союз художников смотрит? Вот такие, как Парна, и лезут!
— Запретить вообще законом помимо мастерских заказы принимать!
— Да что вы шумите, всем работа найдется, у нас колхозов много, — попробовал оправдаться Парна.
— После вас найдешь, держи карман шире!..
Страсти разгорались все сильнее и сильнее. Собрание закипало, как котел, висящий над хорошим огнем, и утихомирить его было невозможно.
Председательствующий, как опытный всадник на буйном коне, когда понял, что с животным не совладать, отпустил поводья, решив, что буйство стихнет скорее само собой. Видно, он проводил уже не первое собрание, хорошо знал норов художников и поэтому преспокойно сидел на своем месте, ожидал, когда же наконец можно будет вставить свое слово.
Д, я не знал, что мне делать. Я был просто поражен. Думал, вяжи, режь меня, я бы даже не шелохнулся, в такое оцепенение привело меня происходящее.
Понемногу стали успокаиваться. Тогда поднялся председатель.
— Ну, давайте, товарищи, поговорим все-таки по существу, решим по поводу Алхаса Анба. А то время позднее, пора уже и расходиться.

Теперь выступали уже более организованно, но сущность была та же. Нас осудили за те работы, которые мы выполняли помимо художественных мастерских, и больше всего, конечно, досталось мне. Как забор перелезают в самом низком месте, так и тут выбрали того, кто послабее, и обрушились на него.
— Если он так начал, — говорили они, — то что будет дальше? Изо рта начнет у нас куски вырывать!
Но некоторые все же заступались:
— Ну чем он виноват? Пришел к нам новый парень, а мы, вместо того чтобы помочь, послали на все четыре стороны, вот он и пристроился как смог.
— А мы еще палками бьем его за это.
— А настоящие виновники — в стороне! С них и надо было начать!
— Ничего, не маленький, хватит с ним нянчиться, что заслужил, то и получит!
И я получил.
Вышел я как мокрая курица, опозоренный, как мне казалось, на всю жизнь.
Я хотел пойти к морю, побыть в одиночестве. «Что же мне теперь делать?» — стоял в голове один вопрос.
Неожиданно меня нагнал мой учитель Хута Ардзынба.
— Ничего, не горюй. Конечно, лучше бы всего этого не было, но раз уж случилось, надо думать, как теперь исправить.
Я ничего не отвечал ему, не знал, что говорить, все мысли мои сбились в один комок.
— Знаешь, что бы я сделал на твоем месте? Поехал бы прямо к себе в деревню, в свое Новолуние.
Там придешь в себя, там тебе будет легче, да и поработаешь, новые сюжеты найдешь...
— Не знаю... Если приживусь... Я ведь совсем уже стал для них чужой.
— Неважно. Все равно там тебе будет лучше. Подумаешь спокойно обо всем, сам все взвесишь...
В этот вечер мы пробыли у него допоздна. Говорили о поэзии, об искусстве, он старался помочь мне забыть о случившейся неприятности.
И через несколько дней я решил последовать его совету — поехать в свое родное Новолуние

10

Я приехал и в первый же день пошел на могилу матери.
«Вот пришел, мать, к тебе... Прости, что задер¬жался.. Живые думают о живых. Наверное, так оно испокон веку и есть. Занят был разными вещами, хотел много найти...
Но все равно пришел к тебе. Знал, что ты простишь, как и раньше прощала...
Не успел стать я на свою дорогу, как сразу споткнулся, чуть было совсем не упал. Вот, пришел к тебе, еле спасся.
Пришел, мама, домой».
«И хорошо, мой сынок. Я ждала тебя. Человек не может все время сидеть дома, должен он уходить. Но должен и не забывать дорогу назад. Когда человек где-то, он всегда гость. Когда дома — хозяин. Слышишь, Алхас?»
«Слышу, мама».
«Человек может надеяться только на ту землю, где пролит его пот, по ней он идет с поднятой головой. Здесь твой очаг, здесь твои корни, здесь должна начаться и твоя дорога, твое искусство. Открой глаза, посмотри кругом: какое у нас село, наше Новолуние! Какие люди живут! Вот их любовь и должен ты заслужить, сын мой. Потом ты выйдешь на большую землю, но укрепить себя ты должен на этой, на малой, на родной. Заговори о своей природе, о своем народе — и тогда сумеешь заговорить во весь голос. И здесь яйцо не покатится само, будет у тебя много трудных минут, но не бойся, ты победишь, только не падай духом, верь в себя!

Не бойся ничего! Я здесь. Я никуда от тебя не отхожу. Мать никогда не отходит от своего сыночка. Никогда!
Ты слышишь, Алхас, сын мой?»
«Слышу, мама, слышу».
Я поднял глаза и посмотрел на свое село. Оно как будто само хотело предстать перед моими глазами во всей красе, походило сейчас на парня, собравшегося свататься, — молодое, нарядное, и если перед этим в моем взгляде еще и оставался какой-то след прошедших надо мной туч, то теперь и он совершенно исчез. Глаза сделались чистыми, видящими, как мне казалось, до самых сокровенных глубин жизни.
Гордо стояло мое село, поднявшись по достоинству, с развернутыми плечами, одетое в зелень, как великан в абхазскую бурку. С того места, где я стоял, оно было видно как на ладони, я видел его и отсюда, и с других мест не впервые, но каждый новый раз находил в нем что-то новое, не замеченное раньше, вот как сейчас, когда смотрел на свое село сверху.
Сколько же лет моему Новолунию? Старик говорят, оно существует с самого сотворения мира. Так утверждают сказки нартов * *(* Нарты — герои эпосов ряда северокавказских народов)*. По ним Новолуние — ровесник самых древних кружов * *(* Кружи — родовые общины.)*. Но несмотря на это, не видно, что Новолуние старо. Оно выглядит как юноша, только что искупавшийся в горном роднике, во всем его облике сквозит юная нежность, красота и обаяние, свойственные толькс молодым.
Каждый уголок в Новолунии имеет свою историю, помнит о многих событиях далеких времен. Только со стороны кажется, что все спокойно и равнодушно, а попробуй подойди, последуй мысленным взором за уходящими вглубь корнями — увидишь неисчезающее прошлое, услышишь разговор давно минувших веков.
Не сумело время стереть и разрушить новолунские памятники. До сих пор: стоит коснуться земли кирке абхазского археолога, тут же натыкается она на какую-нибудь новую вещь — свидетельницу далекой жизни, древней культуры. Если бы каждый уголок маленького Новолуния мог бы заговорить, историям не было бы конца, сложилась бы книга, быть может не беднее истории целого мира.
Но мое село не стоит, укрывшись под крылом старины, оно глядит и в завтрашний день, подстраивает свои шаги под сегодняшние ритмы, его сердце стучит в такт времени. И куда ни обратишь взгляд — на людей, на их работу — везде это чувствуется.
Я спускаюсь вдоль берега Аалыпсты, выхожу на дорогу, ведущую в село, и вижу новые двухэтажные дома, прямо как в городе, вокруг них узорами на ковре дворы, — не стареет мое село, а молодеет день ото дня.
Со мной начинают здороваться знакомые:
— Привет, Алхас! Надолго? Насовсем?
Я отвечаю на их приветствия, но стараюсь не продолжать разговор, пройти скорее мимо, потому что и сам еще не знаю, что сказать.
Дома тоже хотели знать про это, но боялся спросить открыто, чувствуя по моему настроению, что у меня случилось что-то неприятное. Мачеха решила говорить людям, что я приехал только на время, отдохнуть, потом опять уеду в город. За ней повторял это и отец. Он считал, что если я живу в Сухуми, это почетнее для всей семьи, делает крепче положение в нашем селе.
Совсем другое был мой приезд для бабушки. Она просто радовалась мне, радовалась без всяких задних мыслей, не могла успокоиться, не знала, чем угостить, как обласкать...
— Свет моих очей, Алхас, приехал! — говорила она, заходя к соседям. — Приехал, такую учебу
закончил! — Она поднимала руки, как будто хотела их вознести выше наших гор. — Такую учебу, дай бог всякому!..
— Алхас приехал, Алхас! И никуда больше не уедет! — кричала моя маленькая сестра Амина, бегая вприпрыжку вокруг дома. — Никуда не уедет, никуда!

— Заткнись ты, чтоб у тебя язык высох! — шипела на нее Цару. — Что ты людям покоя не даешь! Никому не нужен твой Алхас!
Но Амина не слышала ее от радости:
— Алхас будет здесь! Никуда теперь не уедет!
— Чтоб тебя холера взяла! Замолчи, кому говорю, цыц, хватит уже!
Младший мой брат Адамыр радовался больше про себя. Он не кричал, как Амина, а ходил за мной, словно ручной ягненок за тем, кто его кормит, следовал по пятам, куда бы я ни пошел. Никак не мог вдоволь насмотреться на меня, то и дело ощупывал глазами всего — с головы до ног. И когда я сидел со своими ровесниками, а он, не отрываясь, глядел на меня, мне даже казалось, что, оброни я сейчас одно слово, он тут же поднимет и подаст. Пристально смотрел на меня, как будто боялся, что если отведет глаза, я могу исчезнуть снова без следа в этом огромном и непонятном мире,
— Нан Алхас, ты грустный какой-то или усталый... Отдохнул бы! — подходила ко мне бабушка. — Еще бы, столько учебы — легкое ли дело!
— Да нет, ничего, бабушка, я не устал. Просто так, задумался...
— Вот и не думай! Думы эти хуже напасти изводят! Не думай, что тебе — учиться закончил, приехал домой!..
Бабушка! Это она хранит теплоту нашего дома, обитавшую здесь испокон веков. Это она — богатство, лицо нашего рода, всегда славившегося в Новолунии своим хлебосольством. Ни один гость не уходил от нас без угощения, хотя бы без маленькой стопочкй домашнего вина. Когда в нашей деревне поднимали тост за здоровье невесты, желали, чтобы она стала в замужестве такой же, как Джармхан Баалоу.
Я помню, как приезжал на каникулы, когда еще учился в Художественном училище в Сухуми. Собирались мои племянники и племянницы, а бабушка радовалась, как невеста долгожданному жениху. Она начинала суетиться по дому, все спорилось в ее руках: быстро она разгребала золу, подбрасывала поленья, ставила воду, что-то резала, кропила... И если это был вечер, когда разгорался в очаге огонь, казалось, будто солнце всходило внутри нашей пацхи, сквозь щели плетеных стен пробивались его лучи и озаряли жизнью весь двор вокруг.
А как готовила моя бабушка! Этого нельзя сравнить ни с чем! Я до сих пор помню вкус ее блюд, и они мне напоминают ее. Все, к чему бабушка прикасалась, делалось особенным, не похожим ни на что другое, только она так могла, только моя бабушка!
И сейчас, когда я приехал, она хотела накормить меня, угостить всякими вкусными вещами, которые были припрятаны к моему приезду. Она тихонько подзывала меня и заводила в свою комнатку. Там она открывала свой накрытый ковром сундук и вынимала из него, как рыболов из своего заветного омута, абхазские яблоки, чурчхелы * *(* Чурчхела — сладость из виноградного или иного фруктового сока.)*, сушеный инжир, орехи и многое другое.
— Это твое. Твоя часть. Дай бог, чтобы она не терялась ни в каком году!
А сама тихонько уходила, чтобы не мешать мне лакомиться всем этим.
Моя бабушка Джармхан из рода Баалоу! Моя бабушка — опора и счастье нашей семьи! Когда она была молодая, о ней пели под чонгури* *(* Чонгури — народный инструмент, род гитары.)*, теперь же, как и подобает возрасту, ее слушают все и уважают, И для меня нет лучшего человека во всем белом свете, нет человека дороже и любимей моей бабушки.
Она входит в дом, и у меня сразу делается теплее на душе. Кажется, сама ее комнатка излучает тепло, которое растапливает лед, часто царящий во всем остальном доме. Так чувствует мое тело. Наверное, это же чувствовала и бабушка. И потому она сказала мне в первый же день моего приезда:
— Живи здесь, Алхас, рядом со мной, вот в этой комнате. Здесь тебе будет лучше всего.
А мне и самому не хотелось больше никуда. И там я жил, чувствуя себя рядом с бабушкой счастливым.

Срок моего «временного» пребывания, объявленный мачехой, подходил к концу. Конечно, на самом деле я не был связан никакими обязательствами, мог и оставаться сколько мне захочется, и в любую минуту уехать, но все же надо было как-то определиться — и для других, и, кстати, для себя самого.
А тут для нашей семьи случилась новая неприятность: по всему селу стали говорить, что в газете «Апсны Капш» написали статью про Цару.
Приходили односельчане — одни от души посочувствовать, другие с тайным злорадством, а третьи просто так, от нечего делать.
На общем собрании опять подняли воцрос о Цару — теперь по поводу выступления газеты.
Председатель Абас Назба поднялся и, не торопясь, нарочно выделяя голосом самые неприятные места, прочел всю статью от начала до конца. Потом сказал несколько слов от себя — повторение того же, что я уже слышал, — и предложил выступить другим.
Цару сперва крепилась, сидела прямо, гордо, но когда выступающие стали выходить один за другим, когда она увидела, сколько людей было против нее, то стала постепенно меняться в лице, сначала краснела, потом начала бледнеть; ее глубокие черные глаза, до этого насмешливо-злые, ввалились, потухли, сама она как бы сжалась, высохла за несколько минут, сделалась похожей на одинокое пугало в огороде.
Еще более несчастным выглядел мой отец — Бадз Анба. Он стоял позади всех, прислонившись к стене, как дряхлая подпорка, которая уже не держит, а сама опирается на забор. Он все время молчал. Молчал, как будто с первого дня, как Цару вошла в дом, потерял свой голос, передал его ей. Когда мы случайно, встретились с ним глазами, мне сделалось больно от одного его вида.
Глядя на Цару, я вспомнил, как меня обсуждали — почти в такой же обстановке, только были там не колхозники, а художники. Да, нелегкое это испытание, когда все на своей шкуре, а не со стороны, я сейчас прекрасно понимал мою мачеху, ведь сам недавно был на ее месте.
Но люди были правы — и на этом собрании, так же, как и на том. Нельзя было возразить им, стать на сторону Цару, я даже и не пытался сделать этого. Молчал, как мой отец, и переживал про себя.
Но недаром говорят, не узнаешь, что лучше, пока не увидишь худшего. И самое худшее еще ждало меня впереди. А случилось то, что, когда все свое договорили, Абас повернулся ко мне и прямо в лоб спросил:
— Алхас! А теперь мы хотим знать, что думаешь ты по поводу всего этого? Что ты можешь сказать?
Я растерялся от этого вопроса. Стоял, как будто язык проглотил. В голове было пусто, словно в деревянной колотушке, из которой выдолбили середину.
— Может, ты считаешь, что мы не правы? — спросил снова Абас, как бы помогая мне. — Говори, не бойся.
— Что ж... Нет, я не могу этого сказать. Вы все правы... Все... Во всем...
Ему, видно, только это было и нужно.
Предупредили на собрании Цару, сказали, если еще раз поймают на спекуляции, больше церемониться не будут, отдадут прямо под суд.
Мы шли втроем домой — Цару с отцом впереди, я за ними.
Она говорила отцу:
— Слышал, что твой сынок сказал? Да, слышал?
— Что он мог еще сказать? — бурчал в ответ отец. Ему, видно, не хотелось вести при мне этот разговор.
Но Цару расходилась все больше:
— Они сговорились! И твой Алхас с ними! Да! Да! Нарочно, чтобы только назло мне!
Я шагал молча, не вступая в разговор, мне и без этого было нехорошо.

11

Дом наш стоит как на ладошке; кажется, Новолуние бережно держит его, приподняв чуть-чуть над собой.
В нашей деревне много красивых местечек, но это место все равно для меня особенное. Оно, кажется, было всегда таким, многие годы и столетия: кажется, спустилось сюда, как на веревочке, с самого неба и вот — сделалось тем, что есть. Говорят, именно на этом месте и стал жить первый человек по имени Анба — родоначальник нашей фамилии. А потом сыновья его рассыпались по всему селу, как кукурузные зерна по огороду, род наш стал разрастаться, и теперь фамилия Анба чуть ли не у половины села.
Когда смотришь от нашего дома в сторону моря, то кажется, как будто летишь невысоко над землей на самолете. Внизу видны другие деревни, виден весь склон горы, то каменистый, то покрытый зелеными зарослями, и в самом низу — темно-синяя вода необъятного моря. А повернись в другую сторону — и увидишь сплошные горы, высокие, наверху седые, похожие на глубоких абхазских стариков, берегущих честь родной земли. Ближе всех к нам стоит гора Кьянтаз, вырастает почти что с нашего участка, кажется, протянешь руку — и дотронешься до нее.
Спиной к горе Кьянтаз на высоких сваях стоит наша акуаскья, опоясанная по всей ширине балконом. Стоит так, что сразу видно — она здесь главная хозяйка. Стены ее стары, сделаны без единого гвоздя из прочного каштанового дерева. Двери целый день раскрыты настежь — заходи любой, наша акуаскья гостям только рада.
С середины балкона идут вниз деревянные ступеньки, по которым можно подняться в дом, а с краю того же балкона идет лестница в амацурту * *(* Амацурта — кухня.),* что приделана сбоку к акуаскье; оба строения, одно побольше и повыше, другое низенькое и маленькое, как бы обнялись, навек прижались друг к другу, так и стоят, словно две родные сестры. А позади них, точно несчастная старушка, кутающаяся от холода, — наш хлев.
Совсем отдельно от других построек, сбоку, на границе двора, стоит амбар. Он полон припасов, доверху поднимается гора кукурузы, здесь запас для нашей семьи на целый год. Сквозь плетеные стены внутрь залетают всякие мелкие пташки, воробьи, синицы, и галдят там.
За домом, подальше от него, почти в самом винограднике, так что и не сразу заметишь, загон для коз. Стоит, точно старик столетней древности с перебитым хребтом, шел, шел, вдруг схватился за больное место, скрючился, да так навек здесь и остался, уже не может ни назад, ни вперед. Это, пожалуй, самая ветхая постройка у нас, того и гляди рухнет. Козлята, что толпятся в плетеной пристройке, так и кажется — пробьют пол и провалятся под него. Но как-то держится все, стоит, и один год, и другой, видно, порода дерева прочная такая. И козлята прыгают, толкают друг друга, валятся с ног, но ничего, опять поднимаются целы и здоровы. Так возятся, пока кто-нибудь не выпустит их попастись в молодой кустарник, и они выбегают довольные, сами не свои, набрасываются на свежую зелень...
В Новолунии все держат мелкий скот, одни больше голов, другие меньше, кому сколько позволяют место и силы. И если в дом является гость — когда бы он ни пришел, днем ли, ночью, — нет такой семьи в нашем селе, где тут же не перерезали бы шею хоть одному козленку. Иначе, так считают у нас, хозяину незачем и двери открывать.
В нашей семье вся забота о скотине на плечах бабушки, как, впрочем, и многое другое. Ей спасибо, что хоть и мало у нас коз, но все-таки сколько-то осталось. Уж больно много хлопот с этими тварями: то их выгнать, то загнать, смотреть, чтобы не напакостили в огороде, в винограднике, и если бы не бабушка, отец с Цару давно бы их всех вывели. Но бабушка не разрешает, говорит: пока еще ходить по двору может, будут и козу. Уважает она старый закон гостеприимства, держит специально для гостей этих коз, верит, что и благополучие нашей семьи тоже связано с ними.

Есть у нас и птица. Ее бабушка тоже любит, разводит без конца цыплят, обязательно, если зарежет одного курчонка, смотрит, чтобы вместо него два выросли. Куры и индейки с набитыми зобами лениво бродят по всему нашему двору, как будто устали от той хорошей жизни, что выпала на их долю.
И везде — бабушка. Моя бабушка. Все она, успевает сделать, всех обгоняет, даже солнце, как ни старается, не может встать раньше нее. Когда на дворе появляется его первый луч и куры с кудахтаньем слетают с деревьев, где они ночевали, бабушка уже на ногах, ждет их с полным подолом кукурузы. Идет по двору и рассыпает зерна, как будто семена по пашне, а птицы прыгают, кричат и толкаются следом за ней. Быстро их утихомирив, раздав весь корм, бабушка уже спешит приняться за какое-нибудь следующее ожидающее ее дело.
Бабушка говорила, что научил ее рано подниматься дед мой Баса. Когда он был еще жив, никто на деревне не вставал раньше него. Пока день расчищал свое лицо, чтобы человек мог узнать его, дед уже успевал переделать большую часть домашней работы. А после его смерти бабушка решила во всем продолжать его порядки. Она заняла опустевшее место в доме и старалась, чтобы все шло так же, как при нем. Если же кто-нибудь изменял порядок, делал что-то не так, она очень страдала и тратила все свои силы на то, чтобы восстановить заведенный порядок. Правда, она не была придирчивой и мелкие нарушения, особенно наши, детские, пропускала мимо глаз, но стоило ей заметить непорядок в чем-то серьезном, касающемся всей нашей семьи, как она делалась непримиримой, твердой, точно скала, и уже ни на шаг не отступала от своих требований.
Мой отец, считала бабушка, пошел характером в деда.
— Такой же точно как твой дед, — говорила она. — И спокойный, и уступчивый. Прямо копия... И встает так, и по двору идет...
Она часто заводила разговор про дедушку, делая вид, что случайно припоминала, но на самом деле ей просто хотелось поговорить о нем, я же всегда слушал ее рассказы с большой охотой.
— Дедушка говорил: «Если к тебе пришел гость, а ты спишь, это еще хуже, чем второй раз умереть после смерти». Это правда. Когда мужчина и сон не могут вовремя разойтись, — добавляла она уже от себя, — они только друг у друга отнимают...
— Да, бабушка, я сам знаю, если рано встаешь, то бодрый всегда...
— А как же! Если мужчина и день встретились вовремя, то и до вечера хорошо проживут!
— Но ты-то, бабушка, еще раньше встаешь, хоть и женщина!..
— Ну, ты встаешь тоже не поздно. А надо будет, и раньше проснешься, я знаю. Куда тебе вскакивать! Это уж я, старуха, все равно не сплю...
Бабушка говорила так из скромности, но про себя она гордилась, что поднимается в нашем доме раньше всех, даже раньше моего отца, который тоже не был соней и лентяем.
— Нет, здесь самому почему-то хочется пораньше подняться... Мне кажется, что каждое утро, которое пропустишь в Новолунии, потеряешь навсегда...
— Видишь! Хорошо, что ты это знаешь, — радовалась бабушка.
Но когда разговор касался моей мачехи, лицо бабушки менялось. Она никогда никому не жаловалась на Цару, все свое недовольство старалась пережить молча, про себя. Она не хотела, чтобы в семье еще и из-за нее заводились ссоры, ссоры в доме она не любила больше всего. И только при мне иногда, оттого, наверное, что считала меня ближе других, могла бросить мимоходом два-три острых, как аджика, слова, относящихся к Цару.
— Дал бы ей бог в характере хоть половину того, что с виду есть, ее на целую деревню обменять бы можно было! Красивая-то она красивая, любой обернется, только что толку с этого!.. Хота ты, Алхас, об этом не думай, — тут же обрывала она себя. — Ты о другом думай, у тебя много есть, к чему силу приложить, а это уж бог с ним, как есть, так и есть...
— Что же делать? — говорила она еще. — Потерпим. Бадза только жалко. Господи!.. — и опять замолкала, чтобы не растравлять понапрасну душу.
Прошло уже порядочно времени с моего приезда, больше, чем я обычно здесь проводил,

приезжая на короткие каникулы. Отношения наши с бабушкой становились все лучше и лучше. Видно, она считала меня уже совсем взрослым и старалась передать как можно больше из того, что сама успела накопить за свою долгую жизнь. Как будто боялась, что мало дней ей останется и не успеет рассказать мне всего, поэтому каждый день, вспоминая, пересказывала мне что-то новое, чтобы я запомнил навсегда, заносила в меня свои воспоминания, как в книгу, из которой и другие смогли бы потом почерпнуть, потом, когда ее не будет уже в живых. Говорила она мне о своей юности:
— А дед твой был... Ох и парень!.. Во всей Абхазии его знали... — Она опиралась подбородком о сжатую в кулак ладонь и прижимала к губам мизинец, а глаза, казалось, начинали видеть старое, давно прошедшее время. — Когда он со своими друзьями приезжал, сразу было видно, что он первый среди них, и красивый был, и сильный, с ним никто никогда и не спорил... А мы, девчонки!.. Как поглядит на нас молодой твой дедушка (она до сих пор не называла его по имени, это было стыдно по старому абхазскому обычаю), у нас глаза — как косули в ущелье, не знали, куда прятаться...
— Правда, такой красивый?
— Кто его не видел тогда, тому теперь не скажешь! Все равно не поймет! На него смотреть надо было, а языком разве что-нибудь передашь!
— Наверное, он и нос из-за этого задирал?
— Ну нет, ни капли. Совсем, не гордый был. Конечно, если что, если за себя надо постоять, тут он ответить умел, а так — хороший у него характер, сладкий был... А как он верхом ездил! — Бабушка качала головой, вспоминая. — На сходах сразу все в его сторону поворачивались, когда он на своем коне подъезжал. «Кто это? Кто?» — спрашивают. А он покрутится и сидит как приклеенный, повернется — и назад, а люди ему хлопали! Вот какой твой дедушка был!
— А где же ты увидела его, бабушка, первый раз?
— Где увидела? Где я могла увидеть? У нас, в Бедиа. Когда он туда приехал. Я его первая и увидела... И он меня... Да, тоже заметил сразу... — бабушка глубоко вздохнула и замолчала.
— А познакомились вы когда? — не отставал я от нее.
— И познакомились в тот же день.
— А как?
— Как! Не побежала конечно, сразу же за ним... Узнала через знакомых, а он на сход приехал и тоже узнавал... Ну, а потом пришел к нам... Пришел... А потом я оказалась здесь. — Бабушкины глаза загорелись, как у молодой девушки, видно, это воспоминание было одним из самых дорогих в ее жизни. Загорелись, но быстро она спохватилась и тут же приняла вид, подобающий ее возрасту. — Да, оказалась я здесь... Счастливой ногой пришла. Ввели меня во двор с песней, а я была в белом покрывале, но сквозь него даже видела, что мне здесь рады, все рады были, понанесли подарков, потом подняли вот по этой лестнице наверх — под стук кинжалов, с тех пор, нан, здесь и дом мой, и мое хозяйство, и смерть свою тоже здесь я встречу. Никогда здесь, пока жив был дедушка, ни одно слово не долетало до моего уха, от которого было бы больно моему сердцу. Добрый был человек, золотой был... — Она так расчувствовалась, что показалось, вот заплачет. — Ну ладно, — спохватилась она, — что вспоминать зря об этом!..
— Нет, нет, поговори еще, бабушка, я люблю!
— Это хорошо, что ты любишь, нан Алхас... Нету твоей матери! Увидели бы ее несчастные глаза, каким ты стал! А была она у нас как свечечка, светила, светила для всех, а когда сама должна была увидеть радость, взяла и сгорела дотла.
— Я ее тоже помню. Иногда вижу как живую, стоит передо мной — и все!..
— Не дай бог тебе попасть туда раньше, чем позовут! — Бабушка испугалась, словно я посмотрел в опасную сторону, своей присказкой тут же поспешила защитить меня. — Кто хоть раз видел твою мать, разве может забыть! Ты, наверное, еще не понимал тогда, а какая она красавица была!.. Только в песнях петь!..

— Да, жалко, я совсем маленький был...
— А запомнил, нан, все-таки запомнил!.. Разве можно было ее не запомнить!..
— Жила бы она сейчас!..
— Эх, нан Алхас, я бы своего уха ради этого не пожалела! Как я помню твою мать! Нашему дому и так все завидовали, но когда пришла в него Тытыш, стало его счастье еще большим. Я и твой дед не знали, как и радоваться! Да, видно, такое счастье не может долго продолжаться, совсем рано мы потеряли ее. А как мы с ней хорошо жили! Она по глазам моим читала, что я хочу, вели мы хозяйство, как две лошади в одной упряжке, не то что сейчас с Цару — тащим в разные стороны; шли, друг дружке помогая, и как умерла она, словно опустела половина меня, половину души унесла с собой. Тытыш!..
— Бедная мама!..
— Если бы мама твоя была жива, и мы бы все совсем по-другому жили, и дом был бы другой, не такое имел бы лицо, но что делать! Судьба! Все теперь переменилось, не только я, другие видят. Что делать! Кто же виноват, нан Алхас!
— Все мачехи, наверное, такие...
— Нет, зачем все? Есть мачехи, которые как родная мать становятся. Их и мачехами грех называть. Все тут в характере. Только, видишь, если у матери плохой характер, дети могут и не заметить, все-таки мать есть мать. А у мачехи характер плохой — сразу глаза колет, каждый видит, да еще преувеличит, как говорят, во сто шкур обернет. Так уж идет в мире испокон веков. Если мачеха вовремя не придется ребенку по сердцу, потом уже все, что бы ни сказала, что бы ни сделала, так и останется навсегда чужой. А Цару — видишь, какая она, и с виду хороша, и не глупа, и не лентяйка, да только с характером своим, как капризная корова: молока дает полный подойник, а потом лягнет ногой и проливает все молоко — какая ж от нее польза? — Бабушка хотела еще что-то сказать, но остановилась: что толку больное место теребить, все равно от этих разговоров не станет лучше наша жизнь, наоборот, лишняя обида, лишняя боль прибавится.
— Да, бабушка, но что делать?
— Бедный Бадз! — еще раз вздохнула она.
Потом бабущка встала, подошла к старенькому, ободранному сундучку, который стоял у нее в углу, и рткрыла его. Сундучок недовольно и жалобно застонал, как будто боялся, что ему переломают кости. А бабушка стала копаться в нем, искать что-то, долго копалась, потом наконец разогнулась, вынула какую-то вещь, завернутую в белую тряпицу, и подошла ко мне. Но перед тем, как показать, невольно оглянулась, как будто хотела убедиться, не смотрит ли кто. В белом лоскутке была фотография.
— Вот она, бедная Тытыш, — тихо сказала бабушка, развернув тряпицу. Посмотрела на карточку вблизи, потом чуть отодвинула от глаз. — Вот она... Видишь, вся в черном, это на похоронах она... — Бабушка передала мне фотографию. — Я тут специально спрятала, чтобы не пожелтела, не испортилась...
Несколько женщин с распущенными волосами сидели у гроба. Волосы почти закрывали их лица, а глаза были опущены, так что ни одну нельзя было рассмотреть как следует. Среди этих скорбящих женщин была и моя мать.
Я смотрел на нее и не мог оторвать глаз. Вдруг мне начало казаться, что она может почувствовать мой взгляд, поднять голову и посмотреть на меня. Что бы только я не дал за это!
Но мать не меняла своей позы...
— Ни одного снимка больше у нас нету! Хоть бы что-нибудь еще оставила! Было бы чем утешить себя, когда сама ушла от нас... Видишь, и тут нам не повезло. — Бабушка снова взглянула на фотографию. — Не смотрит, прикрыла глаза, как будто заранее чуяла... Несчастная Тытыш! Не дожила, не дожила до радости!..
Глаза моей матери!..
И на карточке этой и в жизни — закрылись они, навсегда закрылись. Но я их помню, помню эти глаза. Глаза, которые нельзя спутать ни с какими другими в целом мире. Пусть

даже на фотографии они прикрыты, но я их вижу, вижу сквозь веки, вижу такими, как они мне запомнились еще при жизни ее. И я чувствую, как идет свет от них, тепло, соскучившись по мне, глядят на меня эти глаза, а в них — то извечное, что всегда есть между человеком и его матерью.
Моя мама!
Мы с ней всегда мысленно были вместе, разговаривали обо всем, но вот так близко давно я с ней не встречался. А как мне всегда хотелось почувствовать ее рядом, поглядеть в ее глаза, увидеть, как они отражают мир, вместе с ней взглянуть на него...
Глаза моей матери!..
Я почувствовал, что должен открыть их, именно я, ведь этого не сможет сделать никто другой. Даже если всемогущий бог спустится на землю, и ему так, как мне, не откроются эти глаза.

12

Я стоял и смотрел на этого человека, на его работу, и мне был любопытен каждый жест, каждое движение. А он не видел меня, как будто не замечал вообще ничего вокруг, так был занят своим делом.
Человек, близкий земле, и счастье свое находит возле нее. Земля ему раскрывает дущу, отдается в руки, как бы говоря: делай со мной что хочешь, хорошее или плохое, от тебя я готова все принять.
Когда человек на своей земле, они вдвоем — как мать и дитя, если же окажутся врозь, то оба становятся сиротами. Если нога человека не касается земли, живи он хоть тысячу лет, все равно не сможет сделать ни одного шага, ни назад, ни вперед, И земля, если по ней никто не ступает, тоже теряет свое лицо, зарастает сорняком...
И вот теперь, когда я смотрю на этого человека, вижу, насколько он и его земля близки друг другу. Он в винограднике один, он не спешит, наслаждается работой, а земля и виноградные лозы глядят на него как на врача-чудотворца, безропотно предаются его рукам, он же, в самом деле как настоящий хирург, ходит со своим ножом-секатором, трудится над пациентом, стараясь причинить ему как можно меньше боли.
Человек этот — старый новолунский виноградарь Батал Карба. Один из тех, кому обязан наш крлхоз своей доброй славой.
Пришла весна, и Батал, не дожидаясь других, отправился в виноградник, отправился на свидание с землей, которая пролежала одна, проспала всю зиму, а теперь проснулась и ждала его, Батала. И по всему его облику, по движениям рук видно, как он соскучился, как рад повозиться тут, побыть с ней наедине.
Батал ходит и обрезает секатором сухие ветки. Прежде чем срезать, смотрит внимательно, точно ли ветка умерла, щупает рукой, но делает, это так быстро, почти незаметно, что видно только, как после него падают на землю с лозы сухие обрезки. Кажется — просто, а попробуй стань на его место! Обрежь так же быстро и чисто и не пропусти ничего! Я думал, глядя на него, что и тут нужен свой талант: вот я вроде тоже понимаю и делал эту же работу не раз, но потрать на это дело хоть всю жизнь, все равно у меня не получится лучше, чем у Батала. Смотрю на его проворно мелькающие руки и не могу оторваться.
Нет, не перенимать мне надо его ремесло, а совсем другое — запомнить эти руки, запомнить, как они двигаются, чтобы потом суметь нарисовать их и показать целому свету. Руки Батала Карба, нашего соседа, виноградаря из Новолуния.
Да, только тот, кто никогда не работал на земле, может сказать, что это легко. На самом же деле совсем не так. Ведь работать можно по-всякому: и плохо, и хорошо, и очень хорошо. Тот, кто не знает своей работы, наносит земле вред, способен довести ее до того, что она и родить перестанет, и потребуется ей много-много времени, чтобы снова собрать свои силы, прийти в себя.
Ведь земля нежная, как человек. Ее нужно так же, как и человека, охранять, беречь. Но и

земля, в свою очередь, воспитывает человека. Я очень хорошо понимаю это, глядя на Батала. Как он ходит по ней, с какой нежностью, с каким уважением!
Сколько я ни смотрел на него, он не сделал ни одного лишнего движения, ни разу не промелькнуло на его лице ни злобы, ни раздражения. Человек должен достойно вести себя на земле, так же, как хороший наездник в седле. Человеку должна идти работа — так же, как наряд идет красивой девушке. И таков Батал Карба. Таким я вижу его, когда он работает у виноградной лозы.
Потом я вышел из-за кустов, где все это время стоял, и вошел в виноградник.
— Пусть будет счастливым твой труд, Батал!
— Видеть тебе добро, Алхас! Подходи, будь хозяином!
— Хороший виноград у тебя, — похвалил я, приближаясь к Баталу. — И вьющийся, и низкорослый...
— Рано хвалишь, Алхас, хвалить осенью будем. Как сумеем выходить. Ведь у лозы нежное сердце, как у девушки: если обидишь, тут же вянет.
Батал повернулся к лозе и снова принялся за работу. Руки его шли быстро, но не суетливо, одну лозину нежно, не обижая, приподнимал, другую пристраивал пониже или обрезал у самого основания, когда попадались сухие ветки. Мое присутствие его ничуть не смущало, не мешало работать, потому что он чувствовал, что его работой можно любоваться, знал, что руки и перед чужим глазом не изменят ему. От этого и мне, зрителю, было легко находиться рядом.
Батал шел между высокими, стройными ольховыми деревьями, увитыми виноградом, а я по пятам следовал за ним. У одного дерева он остановился. Долго осматривал лозу, подобно тому, как врач осматривает при обходе больного — заглянет в глаза, ощупает рукой, о чем-то поразмыслит про себя... Батал задрал голову вверх, стал оглядывать ствол, по которому, извиваясь, поднималась лоза, потом вдруг напружинился, подпрыгнул, ухватился за сучок, подтянулся, как гимнаст, и стал карабкаться дальше. Наконец он дошел до нужного места и остановился. Там одна лозина была повреждена, теперь уже высохла и свисала, печаля живые ветки, как не погребенный вовремя труп. Батал чиркнул секатором, оттолкнул ветку и стал спускаться вниз.
Тело лозы подобно телу человека: ударят — останутся следы, что-то нарушится, станет не так, будет болеть лоза и мучиться — да, мучиться! — только про себя, глубоко в душе затаив обиду. И поди узнай, что с ней случилось! Но человек должен узнать, хороший виноградарь всегда узнает. И когда с его помощью она избавится от своих несчастий, начинает резво виться по всему дереву, бежать вперед, и лучи солнца, как виноградная кровь, сквозят в молодых побегах.
Я видел, что к нам подходит новый человек. Это был председатель Абас Назба.
— Добрый день, Батал! Смотри, какой у тебя гость! — Он насмешливо поглядел на меня, потом пожал нам обоим руки. — Не рано подрезать начал?
— Да нет, не рано, смотри, погода какая. Самое время. Надо бы и другим начинать.
— Да? Что ж, поговорю с бригадирами...
— Поговори, поговори, кто понимает, скажет тебе: самое время!..
— Ясно... А где твои орлы?
— Завтра все придут. Это я сегодня первый вылез, вроде как на разведку... А смотри, молодежи сколько у меня в этом году! Тоже стали интересоваться! Спрашивают: покажи, дедушка, что да как, вижу, сами хотят учиться...
— А кто их приохотил! За мастером всегда люди идут, что же, у нас молодежь хуже, чем у других?!
От этой похвалы — и себе, и молодежи — Баталу сразу стало приятно. Он ничего не ответил, но лицо его приняло довольный вид.
— Ну, удачной работы! — сказал Абас на прощание.
— Спасибо. И тебе дай бог того же!
И Батал снова принялся за дело, считая, что уже достаточно потратил времени на

разговоры.
А я снова смотрел на него. С виду Батал был стройный, худой, как юноша, работой он выгнал из
тела все лишнее и, несмотря на возраст, мог бы, наверное, если бы захотел, даже покрутиться на турнике. Лицо было под стать телу: сухое, острое; нос похож на клюв, с горбинкой; было видно, что по натуре этот человек упорный и доведет до конца любое начатое дело, тысяча человек не смогут его оторвать. А глаза добрые. Они не прятались, не бегали в глазницах, а были всегда спокойны, уверены в себе и участливы к собеседнику.
Но всего выразительнее были все-таки руки Батала. Ни у кого больше я не видел таких рук. Таких ловких, чутких, по-мужски красивых, с длинными, тонкими, как у музыканта, пальцами.
Такими стали они у Батала от его работы, приняли форму, идеально соответствующую тем движениям, которые приходится ему выполнять. Кажется, в них перешли и ум, и вся сноровка Батала. И когда они работают, сам Батал тут вроде бы и ни причем. Лоза любит эти руки, оживает от их прикосновения, быстрее начинает бежать по ее жилам сок.
Я смотрел на Батала и чувствовал необыкновенную радость, оттого что смог увидеть так много,
открыть еще никем не замеченное. Я мог бы обойти целый мир и не найти того, что нашел здесь, в своем родном селе.
«Хотя бы из-за одного Батала стоило мне приехать в Новолуние», — подумал я.
И когда шел домой, всю дорогу перед моими глазами стоял Батал, этот старый виноградарь, всем
существом своим чистый, ясный, как и его работа.

«Руки виноградаря» — само пришло мне в голову название, и я чувствовал себя так, как будто не в мыслях, а на самом деле написал эту картину, изображающую Батала Карбу, моего соседа, виноградаря из села Новолуние.

13

Наверное, нетрудно догадаться, что кроме всего прочего вела меня в Новолуние и еще одна причина, назвать которую можно одним именем: Ада Назба. Да, я хотел быть рядом с ней. Все время, пока я жил в Сухуми, я скучал по ней, и это, может быть, и утвердило окончательное мое решение поехать домой.
И хотя когда я приехал, Ады еще не было в Новолунии — она продолжала учиться, — но я
почувствовал, что здесь, дома, как бы стал ближе к ней. Ведь все мне напоминало о ней, я обходил те места, где мы были вдвоем, смотрел на дорожки, деревья, камни и как будто видел снова ее на их фоне, как в самом деле видел когда-то давно.
И вот — скоро Ада должна приехать, ее ждут со дня на день, молодого врача Аду Назба. При одной мысли об этом мое сердце бьртся как сумасшедшее, просится вон из груди.
Я знал — в селе нет секретов, — что она уже точно решила остаться в Новолунии, по ее просьбе ее и распределили сюда. Родители Ады были счастливы по этому поводу, хвастались всем...
А вот я... Мое счастье висело в воздухе.
Когда я жил в Тбилиси, мы переписывались с Адой. Ничего особого не писали друг другу, так, рассказывали о жизни, об учебе, ведь в Новолунии по-особому относятся к любви, считают большим грехом просто так бросаться словами, и поэтому, пока еще не были окончательно решены наши судьбы, я не мог себе позволить говорить открыто о чем-то таком.
Но, вот когда я приехал домой, Ада почему-то перестала отвечать мне. Я писал ей, писал,

и все — ни строчки от нее. Как будто письма мои не доходили до нее, падали в бездонную пропасть. Главное, хоть бы знать, в чем причина, я бы сделал все, чтобы устранить ее, но не отвечала Ада, молчала, и хуже этого ничего нельзя было придумать. Ада училась в Харькове, и я уж думал, поеду к ней, увижу, сам спрошу, да никак не мог решиться. Вдруг она нашла другого, а я стал не нужен, неприятен ей, как бы глупо тогда я выглядел с этим моим приездом...

И вот Ада возвращается. Наконец я увижу ее и все узнаю. Узнаю, быть мне счастливым или, наоборот, несчастнейшим из людей. Вот почему-так бьется мое сердце и ни на минуту не может успокоиться.

А тут еще и дома обстановка делалась все хуже и хуже. Мы мало разговаривали, обращались друг к другу только за самым необходимым, все ходили какие-то хмурые, недовольные. И главными противниками в этой молчаливой войне были я и Цару. Бабушка и отец уже давно привыкли ко мне, как будто и забыли, что я когда-то жил не дома, считали, что мое место именно здесь, и слава богу, что мы все вместе.

Но Цару думала по-другому. Она все это время ждала, когда же кончится срок моего пребывания в Новолунии и я уеду обратно в Сухуми. И когда поняла, что я вовсе не собираюсь этого делать, прямо взбесилась, потеряла покой. Все ей стало не так, все ее раздражало, а я в особенности, из-за этого страдали и бабушка, и отец, и Амина с Адамыром.

Я решил поговорить напрямик с Цару. И однажды, когда мы были дома вдвоем, подошел к ней:

— Из-за чего ты злишься, Цару?

— Из-за чего я злюсь?

— Да я вижу, ты сама на себя непохожа стала... Тебе неприятно, что я приехал домой?

— Я этого не говорила.

— Но это так. Я знаю, что тебе хочется...

— Что мне хочется! Какое тебе до этого дело!

— Но ты должна понять, Цару, я приехал, приехал к себе домой и не собираюсь никуда уезжать отсюда.

Цару вся побледнела от злобы. Глаза ее гневно сверкнули на меня.

— Как — никуда?

— Так, никуда не собираюсь, здесь я родился, здесь мой дом, почему я должен куда-то ехать?

— А твое образование? Твоя профессия?

— Они пригодятся мне и здесь, в Новолунии.

— Здесь? Для чего? Что-то я не понимаю...

— Я понимаю. Я уверен, что здесь-то как раз я и нужен.

— Чтобы изводить меня!

— Нет, Цару, ты сама знаешь, что нет. Я не хотел ссориться с тобой никогда, хотя бы из-за моего отца, но ты сама вынуждаешь, сама первая затеваешь в доме войну...

— Ты только так говоришь, а на самом деле ненавидишь меня. Как только приехал, сговорился сразу с Абасом! Продал меня, продал у всех на виду, а будет случай, просто выбросишь, перебросишь через голову!

— Цару, пойми же, что дело не во мне, а в тебе! Ты хочешь, чтобы и я пошел по твоей дорожке, но этого не будет, запомни, не будет никогда!

Так мы ни до чего и не договорились, только потрепали нервы друг другу. И я понял, что это еще не конец, а только начало. Ни я, ни Цару уступать не собирались. И теперь эти вспышки должны были следовать одна за другой.

Во всей этой истории мне, конечно, больше всех жалко было отца. Я видел, что про себя он глубоко переживал нашу ссору с мачехой, начавшуюся неизвестно когда и неизвестно когда собирающуюся прекратиться. Он одинаково жалел и меня, и ее, хотел примирить нас всеми силами, но получалось, что только оказывался все время между двух огней, сам

ссорился то со мной, то с мачехой.
И все же я был не совсем прав, когда сказал Цару, что все дело в ней, а не во мне. И во мне тоже было дело, должен признаться. Может, с меня то все и началось...
Я невзлюбил мачеху с самого первого дня, как она вошла в наш дом и заняла место моей мамы. Не знаю, откуда взялась эта нелюбовь, быть может, даже скорее всего, я был и несправедлив к ней. Но я чувствовал в ней чужую, чувствовал, что она не может заменить мне маму, и бессознательно мстил ей за это. Я был тогда еще совсем маленький и не мог да и не хотел скрывать свою вражду. Мачеха делала все, чтобы сблизиться со мной, не ее усилия оставались бесплодными, наоборот, я еще больше старался досадить ей. И в конце концов Цару сама почувствовала ко мне неприязнь. Со временем взаимное нерасположение наше все углублялось и углублялось, хотя внешне нам удавалось втискивать его в рамки приличий. Но теперь эта история с собранием, с газетой, мое нежелание жить в городе выгнали наружу все то, что подолгу накапливалось в наших душах.
Окончательно убедившись в том, что я никуда не уезжаю, Цару решила сделать так, чтобы моя жизнь здесь стала невыносимой. Но понимая, что в открытую со мной ей будет тяжело бороться, она избрала другую тактику, как говорят в народе: хочешь в корову попасть, меть в быка. Цару стала изводить моих ближних, в особенности отца, прекрасно зная, что для меня это будет самой тяжелой пыткой. Отец со своим мягким характером старался сгладить все ссоры, уступать где только можно, гасить ее выпады в своем сердце, как головешки в воде, чтобы не дать разгореться большому пожару. Но он не понимал причин частых стычек, не понимал, что в большинстве случаев причиной их был я, а не он.

14

Однажды вечером, когда я сидел у себя, со двора кто-то закричал:
— Эй, Алхас, дома ты?
Наша собака Бгазлоу раньше всех ответила гостю оглушительным лаем, который полетел со двора, как из огромного пустого кувшина. Отец прикрикнул на нее:
— Назад, куда!
Бгазлоу замерла как вкопанная, потом повернулась и нехотя поплелась к своей будке.
— Да, он дома, — отвечал уже гостю отец. — Алхас, спускайся, к тебе Дата пришел.
Дата бал мой старый приятель, еще по школе, теперь, я слышал, его выбрали у нас секретарем комсомольской организации.
Мы поздоровались за руку, потом присели. Я обрадовался ему в первый же момент. Последнее время из-за всех неудач, неприятностей я стал как-то болезненно относиться к людям, не мог отделаться от постоянно преследовавшего меня чувства вины, с обостренной чуткостью воспринимал все, и поэтому любой знак внимания, участия со стороны был мне особенно дорог.
Едва, задав два-три вопроса о моих личных делах, на которые, кстати сказать, и отвечать у меня не было особой охоты, Дата перешел к делам колхоза, и тут сразу почувствовалось, что он в своей тарелке.
— Надо чинить дороги, — говорит Дата, —У нас, видишь, сколько еще плохих дорог! Вообще-то район должен, но от них разве дождешься! Лучше уж все сами исправим. Но это в будущем. А пока надо привести в порядок хоть бы одну. В поселок Абгаларта. Ты знаешь, как они там прилепились, кажется, ногу негде поставить! И дорога у них такая, черт голову сломит, сто лет назад строили, а теперь — ни проехать, ни пройти. И мы решили обязательно ее на той неделе починить...
Дата так горячо убеждал меня, как будто от моего слова зависело — чинить эту дорогу или не чинить. Но кто я? Инженер? Начальник? Зачем он так горячится? Чем я им могу помочь? Я всего лишь художник, да и то не слишком удачливый...

— Сделаете, конечно, — ответил я, проста так, чтобы только что-то сказать.
— Почему «сделаете»? А ты? Вместе сделаем!
— Если я вам нужен...
— Конечно, нужен. Нам каждый человек нужен! Потому что надо сделать как можно быстрее! Недавно мальчика оттуда не могли привезти с аппендицитом. Ночью приступ, а легковая машина туда не проходит. Еле-еле в кабине грузовика довезли к нам. Хорошо — успели, а если бы нет? Из-за плохой дороги мог погибнуть ребенок. Понимаешь?!
Понимаю, конечно, я все это понимал. Но кто меня поймет? Нужны и дороги, и больницы, и строители, и повара, — слов нет... Неужели один я никому не нужен? Дата так говорит со мной, как будто то, что я художник, это вроде несчастья или же порока, который со временем можно исправить — таскaнием камней, сглаживанием горных склонов...
— Ты понимаешь это, понимаешь? — не отставал он от меня.
— Да, да, конечно, понимаю...
— Значит, будешь нам помогать?
— Буду, пожалуйста...
— Отлично, молодец! Я так и знал, что ты согласишься! У нас дел полно вокруг, для нас, для молодежи особенно, только рук не хватает на все... Вот виноград... У нас же в колхозе он самое главное, ты знаешь...
«Уже на виноград перешел. Я даже не заметил. Сейчас, наверное, позовет окапывать или обрезать...»
— ...недобираем столько бочек! А вино у нас замечательное! Только мало даем, вот его нигде и не знают. А если там посадить виноград и убирать его, как я говорю, мы сразу можем выйти на первое место...
Дата говорил с таким азартом, что мне даже начало представляться, как это вино с еще не посаженных виноградников переливается из давильных чанов, идет волной на горы, пробивается сквозь них и заливает собой целый мир...
Да, я завидовал Дате. Хорошо, когда человек увлечен так, как он. И когда вдобавок еще знает, куда приложить силы, видит конкретное дело, в котором он необходим. А я чувствовал себя перед ним личностью, не нужной никому, ни к чему не пригодной. Моя профессия здесь не нужна. Другое — пожалуйста, все, что угодно, только не это. Ремонт дороги, виноградники... Про овощи только еще не говорил!..
И, словно читая мои мысли, Дата продолжал:
— А овощи? Мы же можем выращивать их круглый год, и есть кому покупать. А знаешь, сколько это может дать колхозу, если поставить дело как следует? Куда продавать? И об этом я думал...
Я слушал Дату уже вполуха. Какое мне дело до этих дорог, виноградников и всего прочего, раз меня никто не хочет понять?.. И вдруг под конец разговора Дата сказал:
— Вот еще, чуть не забыл! Ты же художник, а мы тут как раз решили одну штуку устроить... В общем, вроде выставки, портреты наших колхозников, хороших и плохих, с подписями где надо и в стихах даже... А? Как тебе эта мысль? Возьмешься? Согласен?
Я сразу ожил. Конечно, я был согласен, Я бы согласился сейчас на что угодно, хоть снова плакаты рисовать, лишь бы это хоть как-то было связано с моей профессией.
Так и сказал я Дате, и он, видно, тоже обрадовался, что сумел найти для меня подходящее дело. Я проводил его до калитки, пообещав на прощанье, что и на виноградник тоже приду, и на дорогу.
Через несколько дней действительно объявили молодежный рейд на виноградник, и я пошел вмест со всеми. Теперь я работал с радостью, не чувствовал себя разнорабочим, знал, что от меня ждут другого, и уже особо присматривался к остальным, старался запоминать лица, которые, может, скоро мне пригодятся.
Мы вскапывали землю, рыхлили ее, потом носили навоз, делали лунки под саженцы... «Техническим» руководителем был Батал Карба, бог новолунских виноградарей, а организатором — Дата Хагба. Батал явно был доволен нами, и не столько даже самой

работай, потому что все мы еще мало понимали в этом деле и приходилось то и дело нам показывать, объяснять, сколько тем, что мы, не пожалев времени, собрались, пришли, слушаем его, старого ма¬стера, и всерьез стараемся овладеть древней наукой.
Работали мы до позднего вечера. Чуть ли не первый раз за все время моего пребывания в Новолунии я возвращался домой с легкой душой. Физический труд и сам по себе отвлекает от всяких дум, а тут еще было приятно почувствовать себя рядом с другими, увидеть плоды работы, сделанной сообща... Я чувствовал себя так, как будто с потом, выступившим из моих пор, ушли и все сомнения, которыми я мучился предыдущие дни...
Дома я помылся, поел и пошел сразу спать, едва коснулся головой подушки, как тут же и уснул.
Под утро меня разбудил голос Цару, долетавший из соседней комнаты сквозь тонкую перегородку:
— ...Чтобы глаза мои не видели вас! Оба провалитесь вы с ним в ад кромешный!..
— Ну что ты орешь, разбудишь всех, хоть до утра успокойся, — пытался утихомирить ее отец.
— Он как колючка у меня в глазу!.. Пришел и впился! И ты, ты тоже за него, одна я, несчастная, страдаю...
Проснулась бабушка в тяжело вздохнула в своей комнате. За ней разбудили и Амину:
— Мама, что такое? Уже утро? Надо вставать?
— Спи ты!.. Мучители!.. Сколько же мне от вас терпеть!

15

А потом мы чинили дорогу.
Поднялся я в тот день, с восходом солнца.
Я быстро позавтракал, взял с собой кирку и лопату, как подобает настоящему рабочему, и отправился на дорогу к поселку Абгаларта.
Утро было в этот день необычайно красивым. Наверное, про такие минуты сказал человек: на небо без лестницы взойдешь!.. Сначала я шел по открытому месту, и до меня в утренней тишине долетал приглушенный голос Аалыпсты. Потом надо было пройти каштановую рощу, а дальше была узкая тропинка, ведшая напрямик по горному склону в Абгаларта.
Тропинка эта шла очень интересно. Тот, кто пробирался здесь первым, шел все время по-разному. То поднимался вверх, то, видимо, уставая, шел прямо, даже чуть приспускался для отдыха, потом, набравшись сил, опять карабкался в гору. Так вот и теперь идешь по этой тропинке, для путника очень даже удобно.
Вроде ничего в этом нет удивительного, а задумываешься невольно об этом самом первом человеке. Сколько лет прошло с тех пор? Много, вероятно, очень много. И ничего от него — ни имени, ни звания не осталось. Осталась вот эта тропинка. И наверное, каждый, кто проходил по ней в течение всех долгих лет, поминал того человека добрым словом. И можно считать, я думаю, что жизнь его оправдана вполне: не зря он ее прожил, раз сумел оставить что-то хорошее после себя. Вот так и мы должны перед будущими потомками оправдать свою жизнь. Ведь все меняется на земле. Сегодня мы здесь жители и судьи тех, кто жил до нас. А завтра нас самих будут судить и вынесут такой приговор, какого мы заслуживаем.
Мы тоже строим дорогу. Даже не строим, чиним. Пусть это не бог весть что, и все-таки это доброе дело. Хоть и маленькое, но доброе. И за это наши потомки скажут нам спасибо. Хотя бы как я сейчас — пробившему эту тропинку. Ради этого стоит трудиться, и нет в мире ничего приятней подобной работы.
Пугающее в поселке Абгаларта * *(* Абгаларта — пропасть)* — одно только название. На самом же деле жить в нем совсем не страшно, тем более — привыкшему человеку. Быть может, в названии отразилась труднодоступность поселка, вот уж действительно — он

отгорожен от всего мира горами, как крепостью, стоит высоко над эдаким крошечным царством, маленьким клочком живой земли среди суровых камней.
Сравнение с царством поселка Абгаларта — в высшей степени справедливо, ибо во всей Абхазии, наверное, нет уголка, который был бы так плодороден. Тут все растет: цветок, дерево; какое семя ни кинь в землю, непременно даст тебе богатый всход.
А тех, кто живет в Абгаларта, и силком не перетянешь ни в какое другое место, хоть золотые, горы им сули, от земли своей никуда не уйдут. Единственно, что плохо, — дорога, но вот за нее-то мы как раз и решили взяться.
А если перечислять, чем знаменита Абгаларта, потребуется немало времени. Славится далеко за пределами нашего района табак, который выращивают здесь. Недаром в Абгаларта приезжают отовсюду табаководы—поглядеть на здешние сорта, на то, как возделывают их местные жители.
Конечно, земли в Абгаларта крошечные, всего выращивается понемногу, но недаром же говорят: мал золотник, да дорог. И в нашем колхозе абгалартская бригада пользуется заслуженным уважением.
Какая кукуруза здесь растет! Огромные початки, зерно — чистое золото, так и кажется, весь початок набит старинными золотыми рублями. А что за мамалыга из нее! Какие чуреки! Настолько славится кукурузная мука из Абгаларта, что не считается обидой, если житель оттуда, спустившись в Новолуние, прихватит с собой, чтобы испечь здесь из нее лепешки, — это даже вроде как знак уважения хозяину дома; всякому приятно угощать своих гостей кушаньем, приготовленным из абгалартской муки.
И фрукты в Абгаларта самые лучшие. Их вкус не спутаешь ни с каким другим. Виноград здесь издавна выращивают только одного сорта — «изабелла». Но здешняя «изабелла» так хороша, что рядом и близко нечего поставить. Земля Абгаларта как будто специально создана для него. Здесь растут огромные, до самого неба, ольхи, по их стволам вьются туда же, в поднебесье, крепкие лозы с иссиня-черными, когда созреют, полными кистями. Вино из этого винограда густое, терпкое на вкус, про него говорят: «мужское вино», — можно пить помногу, и утром голова не болит.
Еще в Абгаларта растет каштан. Тоже особенный. Круглый год тут не переводятся каштаны. В любом доме, даже самом небогатом, когда ты зайдешь, поставят перед тобой миску, чтобы мог, пока то да се, пошелушить, занять руки. Они и сдают государству каштаны, увозят отсюда грузовиками, но все равно столько собирают, что и сдать хватает, и себе остается.
Это самое лучшее время в Абгаларта — время сбора каштанов. Людей тут мало, поэтому зовут всех к себе, и старых, и малых, кому только охота, а за помощь — бери сколько сможешь унести. Я несколько раз попадал к ним в это время и лучше, веселей, признаться, не видел нигде праздника.
А еще Абгаларта славится своими пчелами. Если речь с незнающим человеком заходит о меде и пчелах, то ему обязательно скажут: «Наша пчела весь мир облетела!» И это чистая правда. Пчел из Абгаларта купили американцы, чтобы разводить у себя. Я сам прочёл об этом недавно в одном журнале.
Что еще сказать мне про Абгаларта? Когда я был маленький, мы ходили туда с мальчишками собирать дикую мушмулу. Почти везде в других местах она выродилась, растет редкими кустиками, и только в Абгаларта еще сохранились густые заросли. Еще растет кизил. Из него в Абгаларта умеют дйлать замечательную подливу, ярко-красную, незаменимую к мясу и курятине.
Вот какое это маленькое селение! Настоящая драгоценность! И хорошо тем людям, тамошним жителям, которые владеют этой драгоценностью.
...Работали дружно. Здесь собралось, кажется, все наше село и вся Абгаларта — от мала до велика, кто только мог передвигаться на своих ногах. И дело шло. Мы постепенно двигались дальше и дальше, а позади оставалась ровная, гладкая полоса дороги.
Прошло время, и я почувствовал, что устал, болела спина, подгибались ноги, надо было

немного передохнуть. Видно, за те годы, что прожил в городе, успел уже отвыкнуть от физической работы.
— Передохни, Алхас, надорвешься, — сказал мне Дата. — Вон, наши уже отдыхают...
Я не стал с ним спорить, бросил лопату и уселся на камень. Сам Дата продолжал работать, словно желая показать, что он, командир, и здесь впереди других.
Я смотрел,, смотрел на него и вспомнил, что в кармане у меня лежат блокнот и карандаш. Достал и начал рисовать нашего комсомольского вожака за работой. Он случайно обернулся, увидел, что я рисую, но сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал орудовать своей киркой с еще большим упорством, стараясь не смотреть в мою сторону.
Но вскоре у меня появился конкурент. Наш колхозный фотограф Гуадала Гуадзба. Он пришел, задыхаясь, когда работа была уже в самом разгаре, и тут же стал принимать причудливые позы: то сядет на корточки, то весь изогнется, балансируя на одной ноге, то подлезет, рабочему под самую лопату... Увидев меня, презрительно прошел мимо и снова принялся за свои фокусы.
В это время из-за поворота показался долгожданный бульдозер. Дата запрыгал от радости и замахал ему:
— Сюда, сюда!..
Насчет бульдозера он договорился в одной строительной конторе, пообещали прислать утром, но не прислали, и Дата уже было решил, что его обманули, но вот наконец техника прибыла, и теперь наша работа должна была пойти быстрее.
Бульдозер пропустили в самый перед, и он двинулся как танк в наступление, а мы, пехота, с кирками, лопатами и носилками — следом за ним.

16

Где в жизни найдешь врагов — сам не знаешь. Оказывается, успел я уже стать поперек дороги этому Гуадале. Обида вот откуда пошла. В нашем Доме культуры снаружи висели под стеклом фотографии — портреты передовиков колхоза, — естественно, работы. Гуадалы. Фотографии давно покоробились, выцвели, даже кой-кого уже и узнать было нельзя: солнце и, время сделали свое дело...
Были и другие снимки, уже в самом доме, разных событий из жизни колхоза: начало уборки урожая, праздники, гости из других колхозов, районов, даже из-за границы... Но они тут, собственно, ни при чем, все дело было в портретах, что висели снаружи. Эти фотографии решили снять, вместо них должны были появиться мои рисунки, о чем и сообщили Дата с Бадрой Гуадале. А он, как только услышал, страшно обиделся, принял это как личное оскорбление, чуть не отставку себе. И сколько его ни убеждали, что это просто новая форма агитации и во всем остальном никто не посягает на его права, Гуадала остался при сбоем.
И хотя зачинателями всего были Дата и Бадра, больше всех Гуадала ополчился на меня: дескать, не было бы меня вовсе, никому и в голову бы не пришли эти портреты... Ну что ж, мне уже было не привыкать, я понял, что еще долго на моем пути противников будет встречаться больше, чем доброжелателей.
Хуже было другое. Идея наша не понравилась Абасу. Мы пришли к нему втроем, и Дата с Бадрой стали рассказывать о своих планах. Что, дескать, везде одно и то же, фотографии эти, передовики, а надо что-то новое, поинтересней, поострей. Вот и решили, что я буду рисовать портреты: где передовик, достойный человек, так там и изобразить его под стать, а где лентяй, негодник — карикатура, тоже на всю катушку...
Абас покрутил головой:
— Не знаю, как это получится, какую пользу даст... А вот людей так можно обидеть, что перестанут смотреть нам в глаза. Карикатуры... Критикуем на собраниях — и достаточно.
— Боишься, значит? Какой ты стал... Хочешь, чтобы и мясо поджарилось, и шампур не сгорел! Нахоженной дорожкой пройти, никого не задеть!..

— Дело не в этом! Просто то, чего вы хотите, не подходит для нашей абхазской действительности. Потому что мы все родня, все перемешаны...
— Вот и хорошо! Каждому небезразлично будет! Это как керосин в огонь получится, не жалеть никого!..
— Вот именно, как керосин! И сделаем свой Дом культуры местом позорища для своих же людей!.. Нет, нет, я против, категорически! Можете, конечно, помимо меня, но я тогда ни за что не отвечаю!..
— Да не позорище, — вмешался я в разговор. — Карикатура — это такой жанр, который быстро отзывается на проблемы жизни, остро и направленно критикует существующие недостатки, — я проговорил это как будто, цитату из учебника.
— А, вот оно что! Жанр! — Абас сказал это с таким выражением, как будто наконец вытащил рыбку, которая мутила всю воду. — Жанр! Для тебя это жанр! А ради него мы должны будем потом с палками бросаться друг на друга. Вот ты для чего сюда приехал! И сразу начал золу копать!..
— Ты не прав, Абас, — перебил его Бадра. — Это я придумал, я! Моя идея, а Алхас здесь ни при чем!
— Рассказывай! Наверняка он подсказал, а уж вы схватились!
— Нет! — вмешался и Дата. — И ты на Алхаса не переводи. Придумали мы с Бадрой, я и сейчас считаю, что это дело стоящее. А Алхас просто согласился нам помочь... Что ты тут увидел страшного?..
— Что? Еще раз говорю, это не для нас, не для абхазцев, народ нас с вами не поймет...
— А почему это ты говоришь за народ? — вспых¬ул Бадра. — А мы что, не можем? Мы сами — не народ? Что мы, абхазцы, дикари последние, всему миру подходит, а нам не подходит?
— Правильно! Народ еще и похвалит, вот увидишь, Абас. Абхазцы испокон века любят юмор, частушки...
— Нет, не позволю все равно! И не морочь мне голову своими частушками! Сами про себя и пойте их. А позорища из клуба делать не позволю! Вы тут намалюете, насочиняете — и в кусты. Алхас забрал свои карандаши — и обратно в Сухуми, а мне одному отвечать! Мне потом перед людьми отвечать! Нет, нет и нет! Если хотите, на партсобрании ставьте вопрос, но я, так и знайте, буду против.
После этого разговора мы посовещались и ре¬шили идти на партсобрание. И там поднялся спор еще погорячее. Одни сразу же подхватили нашу затею, сказали, давно пора дисциплину поднимать и карикатуры — самое подходящее дело. Другие же стали на позицию Абаса, уперлись в это «народ не поймет», и никакими доводами их нельзя было сдвинуть с места. В конце концов решили голосовать. Большинство все-таки оказалось за нас. И мы могли смело приступать к работе.
«Что ведет нас вперед и что тащит назад?» — так решили мы назвать наш вернисаж. У меня уже были заготовки, оставалось сесть и окончательно нарисовать. Я сел. Но вот тут-то и случилась загвоздка. То есть, пока я рисовал портреты «хороших», получалось отлично и самому нравилось, и Дата с Бадрой хвалили. Но вот я попробовал нарисовать пару карикатур. Нарисовал, посмотрел на них и понял, что и в словах Абаса тоже была доля правды.
Я позвал Дату.
— Ну, что будем делать? Как хочешь, а я не могу. Прав, наверное, был Абас...
— Что такое? Получалось же хорошо!
— Получалось! Это пока хорошие... А вон посмотри, две карикатуры нарисовал, что получилось...
Дата поглядел и закачал головой:
— Да-а... Что-то не то...
— А что делать?
— Надо вот с чего начать. Какая у нас цель? Правильно ты говоришь, критика

недостатков. Исправление их. Значит, надо, чтобы этому и служили твои карикатуры... Может, так их и пустить, как есть, только без подписей? А? Каждый ведь все равно себя узнает?..
— А не скажут про нас, что мы просто трусы? Передовики-то с подписями все, имя, кем работает, в какой бригаде... Вот, слушай! Нам что надо? Чтобы каждый себя узнал я чтобы это все-таки позорищем не было. Так мы и подпишем: «А здесь пусть каждый сам себя узнает!» А? Подходит?
— Точно! Подходит! Давай рисуй, и с этой подписью повесим.
И я стал рисовать дальше. Теперь уже не боялся, старался изо всех сил, чтобы и смешно было, и в то же время похоже. И получались рисунки один лучше другого.

17

Странные у нас с отцом были отношения. С тех самых пор, как умерла моя мать, не то что мы не любили друг друга, нет, любили, и каждый не пожалел бы руку отдать за другого, но вот чего-то родного между нами не было. Была в душе прохлада, которую никакие внешние знаки внимания и любви не могли, к несчастью, устранить. Мы долго не говорили друг с другом ни о чем серьезном, но в конце концов отец, подталкиваемый, видимо, Цару, решился на этот давно назревавший разговор.
— Расскажи, Алхас, что у тебя, о чем ты думаешь? — начал он, как я видел, не очень охотно. — Я все-таки отец, должен знать, где-то и подскажу, помогу тоже...
— Что ты хочешь знать, отец?
Отец оторвал взгляд от пола, видно, решился наконец.
— Хочу, например, знать, почему ты приехал сюда, в Новолуние, а не остался в Сухуми?
— Захотелось домой, вот и приехал.
— Но почему, почему тебе захотелось в деревню?
— Почему? Потому что я люблю свое село, люблю свой дом.. Вот и приехал.
— Это хорошо, конечно, добро пожаловать, дом твой, никто не говорит... Но видишь, как-то все не так получается, Алхас, не так, как хотелось бы...
— Ты про наши ссоры с Цару? Ну что ж, подожди, я не виноват, устроюсь, заживу сам, не буду мешать...
— Нет, сынок, не в этом дело. Твой дом есть твой дом, и никто тебя из него не гонит... Но мне кажется, не здесь твое место, не здесь, совсем не здесь!..
— А где же мое место?
— В городе. В Сухуми.
— Почему? Неважно, где жить, главное — как.
— Нет, важно. Для тебя важно, потому что нехорошо про тебя говорят.
— Что говорят?
— Говорят, не сам ты уехал, а выгнали тебя из Сухуми.
— Кто это сказал?
— Кто? Сказали! Людям рот не заткнешь!
— И что, что они говорят?
— Говорят, связался с нехорошими людьми, нехорошими делами занялся, и художники собрались и сказали, не нужен он нам здесь, пусть убирается из Сухуми... Вот так говорят, сынок... А здесь он потому, говорят, что больше некуда деваться; как еж, сколько ни раздевался б, все равно вернется в свою шкуру... А то разве сидел бы, давно бы уехал!
— Я знаю, от кого это идет! Знаю!
— А я не знаю. Мало ли кто! При чем здесь это!
— При том! И ты знаешь, прекрасно знаешь, отец! Ну и пусть, пусть они говорят что угодно, а я останусь здесь. И если я ошибся, то сам исправлюсь, это мое личное дело, а на тех, кто говорит, мне наплевать!
— Нет, сынок, ты должен уехать, я для тебя же хочу добра.

— Я не поеду никуда.
— Должен.
— Давай не будем спорить.
— Я сказал, что ты должен поехать.
— Ты прогоняешь меня?
— Нет, не прогоняю.
— Почему же так говоришь?
— Я говорю так для тебя. Для тебя же это будет лучше!
— Но мне лучще здесь, я никуда не хочу!
— А я сказал — должен. И заодно снимешь со всех нас и с самого себя этот позор...
— Ты мне приказываешь?
— Нет, не приказываю. Советую, как отец сыну.
— Извини, я не могу принять этот совет.
— Если ты считаешь меня своим отцом, то должен послушаться меня и должен уехать!
— А если ты считаешь меня своим сыном, давай прекратим этот разговор и никогда больше не будем начинать...
— А я тебе последний раз говорю!..
— А я тебе! Я уйду отсюда, если только ты меня выгонишь, так и скажи всем, кому мешаю я, — Цару, ее матери и всем остальным! Выгоняй меня, если они тебе дороже. Я уйду и буду жить у чужих, тогда узнаем, чей позор будет больше!..
От этих слов лицо отца помрачнело и в то же время сделалось совершенно беззащитным, он ничего больше не стал говорить, поднялся и, тяжело ступая, вышел из комнаты.

18

Портрет матери теперь висел у меня в комнате. Единственный ее портрет, где она сидела среди скорбящих женщин, с распущенными волосами, скрестив руки на груди и опустив глаза. Единственный свидетель того, что мама когда-то была живой, ходила когда-то по этой земле. Спасибо бабушке, это она сохранила его.
Я стою перед этим портретом и не могу отвести от него глаз.
А она сидит передо мной, застывшая теперь навсегда. Что бы я только не дал за один ее взгляд! Хоть на минутку бы подняла глаза, как мне хотелось их увидеть!
Глаза моей матери!
И снова я не могу поверить, что она спрятала их от меня навечно.
Не могу.
Разум говорит это, но сердце не верит.
Глаза матери!
Я знаю силу их взгляда! Не только тогда видят эти глаза, когда сын пришел и стал перед ними, но и тогда, когда судьба занесет его далеко, куда-нибудь на край света, не теряет его этот взгляд, болеет за него, следит за ним...
И вот стою я и стою перед этим портретом и впадаю как будто в забытье, начинаю видеть давно прошедшее, давно, казалось бы, потерянное памятью.

...Я с соседскими ребятами играю у нас во дворе в аимцакача * *(* Аимцакача — вид игры в мяч. Участвуют две команды.)*. Играли мы каждый день, пока не станет темно или пока не разведут родители. Это была игра нашею детства, все забывали мы за ней, а когда бежишь с мячом, кажется, гром бы перед тобой ударил, земля затряслась — даже не обратил бы внимания.
И вот мы играем, вот мяч у меня, и вдруг я слышу:
— Алхас!
Это голос мамы.
Я не могу остановиться, мне осталось добежать совсем немного, но я слышу снова:

— Алхас!
Наконец я понимаю, что мама зовет меня, тут же останавливаюсь и иду, к дому. Игра кончается. Ребята тоже расходятся, они всегда уходят, когда меня зовет мать.
— Алхас! — опять она зовет, когда я уже поднимаюсь по лестнице.
— Я здесь, мама, иду!
Вбегаю в ее комнату, подхожу к постели.
— Сынок, принеси воды.
Я подаю ей полный стакан, она с трудом пьет, потом отдает стакан мне обратно.
— Присядь сюда, сынок.
Я сажусь на краешек кровати.
Она гладит меня бессильной, тонкой, с высохшей кожей рукой. Рука ее дрожит, сползает с моего плеча, как человек, который хочет и не может вскарабкаться на высокий голый ствол дерева.
— Алхас, — тихо шепчет она. — Сыночек...
Третий год она не встает с постели. У нее парализованы руки и ноги, беспомощная, как неживая, лежит она и только видит все своими глубокими, полными печали глазами.
У нее туберкулез костей; с тех пор, как я первый раз услышал это название, я возненавидел его, и посейчас оно бросает меня в дрожь... Эта болезнь отняла у меня маму, насильно оторвала, как сильный у слабого. Спалила ее дотла, оставила от нее одни кости, обтянутые сухой кожей, и свела в конце концов в могилу...
— Алхас... Ал... Алхас, — начинает бредить она.
Ее мучают боли, она вскрикивает, мотает головой. А я сижу и ничем не могу помочь ей. Мне страшно. Хочется тоже кричать, хочется убежать куда глаза глядят, но руки и ноги мои как будто связаны веревкой.
Потом она приходит в себя, кривясь от боли, говорит мне:
— Помоги, Алхас.
В двух местах у нее открылись гнойники — на бедре и на спине. Когда гной собирался в них, все тело ее пронзала нестерпимая боль.
Я, как всегда, неловко заметался. Мать хотела приподняться.
— Вот здесь поддержи, здесь.
С моей помощью она садилась. Потом развязывала себе повязки и выпускала гной. Там, где она не могла достать, я помогал ей. Потом, отвернув голову, выносил миску, выливал ее сзади дома в специальную ямку и присыпал землей.
После этой процедуры матери становилось немного легче, и она обычно засыпала.
И так было много-много раз. Когда бабушка была дома, она помогала маме, но без нее все делать приходилось мне. Старший брат в это время учился в городе, его поселили там у каких-то родственников, младшего тоже отправили из дома — к моим дядьям со стороны матери. Отец с утра до ночи пропадал в поле, а если и был дома, прятался где-нибудь, несчастный, измученный до последней степени работой.
И потому, если не считать бабушку, которой надо было еще и заниматься хозяйством, вся тяжесть маминой болезни легла на меня.
Я, как все ребята, ходил в школу, делал уроки, играл в мяч, но ни на одну минуту не мог забыть, что она сейчас там одна, с помутневшими от боли глазами, лежит и не видит над собой ничего, кроме низко нависшего потолка. Поэтому я каждую минуту был настороже, где бы ни находился, готов был по первому слабому зову броситься к ней.
Так жили мы в те годы, так мучились всей нашей семьей.
А как мы хотели вылечить нашу маму! Каких только докторов не приглашали к ней!
Когда уже все средства перепробовали, бабушка вспомнила про двух братьев Гамсания, родом из той далекой деревни Бедия, откуда была и она. Дескать, эти как раз знатоки по таким болезням, если уж не помогут и они, тогда в целом мире никто не поможет.
Бабушка сама отправилась за братьями, считая, что это может укрепить надежду на успех,
И однажды утром она появилась во дворе с этими людьми — братьями Гамсания, Оба

были старики, даже, может, постарше бабушки, но еще очень крепкие, бодрые на вид. Сперва они осмотрели маму, потом выспросили все про то, как началась болезнь, когда, как ее лечили, и в конце сказали, что мы поступили очень плохо, не позвав их с самого начала. Потому что туберкулез костей — это именно их болезнь, они только ее и лечат, об этом знает весь народ, а все другие, кто принимается за лечение и говорит, что умеет, шарлатаны и лгуны.
— Это я, я пустоголовая! — причитала бабушка. — Я сразу не вспомнила, стала слушать всех подряд, ходить куда не надо, чтобы ноги у меня переломались! Куда ходила?! Что, я не знаю дороги, которая ведет в Бедия?!
— С самого начала надо было! — повторил один из братьев.
— С самого начала! — подтвердил другой.
— Но может быть, что-то можно еще? Нет какого-нибудь средства?
— Видите, болезнь ушла внутрь. А загнали ее туда лекарства.
— Да, лекарства, которые неправильно готовили.
— Значит, нельзя ничего сделать?
Братья вздохнули и переглянулись. Потом так же, в один голос, ответили:
— Трудно сказать.
— Да, это трудно сказать.
Но они все-таки составили какое-то лекарство, велели давать его матери. С тем и удалились.
Но и это лекарство пользы не принесло.
Однажды я проснулся среди ночи. Мне показалось, что меня кто-то звал. Было темно и страшно. А из маминой комнаты доносился странный шум, приглушенные разговоры. Я оделся и пошел туда.
В ее комнкте было множество людей, все наши соседи. Они что-то говорили, двигались, суетились, загородив совсем маму, словно сошлись тут затем, чтобы выпить последний воздух, которого ей и так не хватало. Так всегда у нас: пока человек болеет, никто не заглянет к нему, будут проходить сто раз мимо, но не вспомнят, пусть хоть он целыми сутками будет совсем один. Но услышат, что умирает, тут же собираются кучей — и старики, и старушки, все кому не лень. И будут стоять, ждать, пока больной не отдаст богу душу.
Когда я вошел, все расступились, давая мне путь к постели. Мать в самом деле звала меня, значит, я во сне расслышал сквозь гудение остальных ее тихий голос. Не видя меня, она повторила еще раз:
— Алхас!..
— Я здесь, мама.
Я подошел к самой кровати. Лицо у матери было желтое, уже до последнего высохшее, почти прозрачное. Она дышала отрывисто и тяжело. Я тут же упал на колени и схватил ее руку. Мать открыла глаза, посмотрела на, меня, узнала... А у меня по щекам уже вовсю катились слезы. Мать задышала тяжелее.
— Дай ей воды, нан, — сказала бабушка и подала мне стакан.
Я приподнял мамину голову, поднес стакан к ее губам, чуть наклонил, но она не стала пить, вода тоненькой струйкой потекла мимо. Я вернул стакан бабушке.
Мама ощупью нашла мою руку и сжала ее — так крепко, что мне показалось: даже если бы все люди, бывшие здесь, потянули меня, то не смогли бы оторвать.
— Присядь, нан, посиди перед ней, — сказала бабушка.
А соседская девушка Цару уже пододвинула мне скамейку.
Я поднялся с колен и сел. Все теперь молчали, как будто боясь нарушить тишину, и я тоже не шевелился. Мать изредка приоткрывала глаза, делая это с огромным усилием, потом закрывала их снова. Рука ее все еще крепко сжимала мою, как будто этим держалась за жизнь, за тот короткий промежуток, который ей еще оставалось промучиться на земле.
Время шло к утру. Потихоньку в комнате светлело. Все оставалось в прежнем положении,

люди молчали, изредка меняли позы или отпускали одно-два слова, после которых снова воцарялась тишина. Все ожидали ужасной минуты, и один я не понимал этого, хотя смутно чувствовал, что происходит что-то страшное, непоправимое.
Потом мама начала приходить в себя, открыла глаза, у нее парализовало язык: я видел, как она силилась что-то сказать, глядела с мукой на меня, но не могла произнести ни звука.
Трудно передать мучения, испытанные мной в ту ночь. Ни о каком сне, конечно, не было и речи. Мне казалось, что я вообще уже не выйду никогда из этого оцепенения. Я смотрел на мать и с тем же мучительным напряжением, с каким она хотела что-то мне сказать, жаждал услышать эти слова. Порой мне казалось, что она понимает это желание, но от этого страдания наши не делались меньше.
Наконец мать как бы успокоилась, ею овладела предсмертная усталость. На дворе к этому времени сделалось уже почти совсем светло.
Потом какое-то движение прошло по ее лицу, веки задрожали, словно она хотела дать нам знать, что еще жива, и глаза ее снова открылись. На лице у нее было теперь такое выражение, какое бывало, когда ей становилось немного лучше. Только глаза были подернуты еле заметной дымкой. Они смотрели, не мигая, перед собой, я пытался заглянуть в них, но они как будто меня не видели.
— Мама, мама! — повторил несколько раз я.
Она вдруг задышала часто-часто, как будто услышала мой голос и всеми силами хотела узнать, где я, по лицу прошла дрожь, глаза сделались чище, осмысленней, они выражали уже не скорбь, долгие месяцы не оставлявшую их, а какое-то другое чувство, светлое, доброе. Дыхание ее успокоилось, мне показалось, что она узнала меня и даже прошептала:
— Алхас!..
Через минуту после этого ее не стало.
Но ее глаза в те последние мгновенья я запомнил на всю жизнь. Она как будто собрала, в них всю любовь ко мне, все материнское чувство, чтобы мне уже никогда с ними не было на свете одиноко, чтобы я знал, что, когда все уже оставят меня, они будут со мной.
Все это вспоминается мне сейчас, спустя много лет с того времени. Я смотрю на портрет матери, и прошлое, оживая, встает перед моими глазами.
После смерти матери я в доме остался один, братья приезжали только летом на каникулы, а потом снова уезжали. Воспитывала меня в основном бабушка, отца я редко видел дома, он был всегда молчаливый, усталый, почти не разговаривал со мной, и поэтому в детстве я не испытывал к нему особой любви.
Зато с бабушкой мы жили душа в душу. Ближе, чем она, не было у меня тогда во всем мире человека. И так по характеру ласковая и добрая, теперь она старалась заменить мне и мать, поэтому внимание ее ко мне удвоилось, на ее любовь я отвечал такой же искренней привязанностью.
Тогда я немного обижался на отца за его невнимание ко мне, но теперь понимаю, что слишком винить его тоже было нельзя. Во-первых, он работал как вол, на лечение матери уходило много денег, и чтобы не остаться нам голодными, ему приходилоа трудиться день и ночь. Естественно, поэтому он всегда был усталый, приходил домой чуть не падая с ног, и не до игр и шуток ему было. А во-вторых, долгая болезнь матери угнетала его душу, даже, наверное, надломила ее, ведь только представить себе жить столько времени рядом с несчастьем, без всякой надежды впереди, быть вправе рассчитывав только на еще худшее... Потом ее смерть, тоже тяжкий удар... Он остался одиноким, дом возбуждал в нем неприятные воспоминания, поэтому он старался задерживаться где-нибудь, иногда вообще не приходил ночевать и, если была какая-нибудь работа, для которой требовалась долгая отлучка, брался за нее с охотой. И часто, просыпаясь среди ночи, я спрашивал:
— Бабушка, а где папа? Не пришел? Он сегодня совсем не придет?
Бабушка испуганно подходила ко мне:
— Ты не спишь, нан? Который час уже? Придет, папа, придет, занят он, работает, а кончит, сразу же вернется... Ты спи, внучек, спи, ночью спать надо...

Я отворачивался к стенке, кутался в одеяло, но еще долго не мог заснуть, прислушивался, не услышу ли его шаги, как он будет подниматься по лестице. Но его все не было и не было, я уставал ждать, и сон постепенно одолевал меня.
И вот случилось самое страшное, что только могло случиться для меня: отец собрался жениться.
Что это такое, я еще не очень хорошо представлял, но, узнав, что какая-то другая женщина должна стать теперь моей мамой, возненавидел решение отца изо всех сил.
По деревне сразу же поползли слухи, разговоры, ужасные для меня и не представляющие ничего осо¬бенного для других, все обсуждали это событие как дело само собой разумеющееся, только один я не находил себе места.
Взрослые думают, что дети ничего не понимают, и поэтому говорят при них, не стесняясь, но это неправильно, дети догадываются о многом, жадно ловят каждое взрослое слово, перетолковывают его на свой лад, и житейские вопросы, всяческие события, несчастья порой волнуют их не меньше, чем больших.
Я еще даже не знал, кто эта женщина, но уже заранее невзлюбил ее. Отец со мной не разговаривал, бабушку спросить я стыдился, но мне ужасно хотелось узнать, кто же все-таки она? Я нарочно старался ее представить самой красивой, самой доброй, самой внимательной, но чувствовал: не люблю все равно. Я думал, ну, может, это еще какая-нибудь волшебница, которая специально спустилась на землю заменить мне маму — принять ее облик, тогда еще ладно, я согласен...
А это оказалась всего-навсего наша соседка Цару Алтарба.
Та самая Цару, которая чаще других заходила в наш дом, помогала бабушке во время маминой болезни. Которая была здесь в ту ночь, когда мама умерла...
В деревне у нас она считалась чуть ли не первой красавицей. За ней бегали многие парни Новолуния, приезжали свататься из других деревень, но всем она отказывала, не было у нее ни одного счастливого поклонника.
Почему же она согласилась стать женой отца? Молодая, имевшая возможность пойти за лучшего парня деревни, связала свою жизнь с этим несчастным человеком, отцом троих детей?
Это осталось для меня загадкой навсегда.
Правда, как-то получилось, что она давно была в нашем доме своим человеком. Сначала девочкой прибегала — по-соседски — то за одним, то за другим, потом уже девушкой заходила помочь, посоветоваться с бабушкой, как с лучшей на всю деревню хозяйкой, привыкла к нам, и мы к ней привыкли. Естественно, когда мать заболела, она оказалась рядом. И все равно это ничего мне не объясняет. Ходить а гости одно, а полюбить человека чуть не вдвое тебя старше — совсем другое.
Отца понять легко. Он выбрал Цару, потому что думал, раз она здесь уже своя, мы скорее подойдем друг другу, нам, детям, будет лучше с ней, чем с какой-нибудь незнакомой, чужой.
Да, так думал отец. Но она-то, она?
Злые языки говорили, что отец соблазнил Цару еще до смерти матери. Мама каким-то образом узнала обо всем, и это усугубило ее болезнь. Она молчала, не сказала отцу ни слова, но про себя решила умереть, вот почему никакие лекарства не помогали ей. Не знаю, правда это или нет, боюсь поверить, но помню, в самом деле был между матерью и отцом какой-то разлад, не из-за одной работы он так редко бывал дома...
Раньше я относился к Цару нормально, просто не замечал ее, привык, здоровался, пробегая мимо, и тут же забывал. Теперь, неизвестно отчего, в душе моей вспыхнула неприязнь, как будто мы были давними врагами. Я поглядывал на дом Цару из-за угла и, когда видел ее лицо или даже край одежды, всего меня переполняло это чувство.
Бабушка как могла старалась успокоить меня:
— Все будет у нас хорошо, Алхас, что ты дуешься, глупенький! Это, наоборот, нам счастье, что будет не кто-нибудь, а Цару! Ты же любил ее раньше! Она красивая, добрая!..

Я делал вид, что соглашаюсь с бабушкой, но про себя продолжал копить свою злобу. А бабушка иногда и сама вздыхала:
— Что делать, господи! Что же делать!..
И вот мой отец женился.
Домой он привел Цару не сразу, как положено по старому абхазскому обычаю, увел в какой-то чужой дом и там держал сперва. Там они были вдали от глаз, и еще как будто ничего в доме не переменилось, все шло, как и шло до сих пор...
Но если человек женился, когда-то он должен привести свою жену! Должен сыграть свадьбу, позвать тостей, украсить дом, чтобы жизнь вдвоем началась, по обычаю, с праздника, с веселья!
Все это еще должно было случиться у нас в доме. И я со страхом ждал этого события.
Приехали братья. Мы с ними как-то не дружили, поотвыкли друг от друга из-за того, что жили все время врозь. И это слово «брат» в детстве не имело для меня такого смысла, как для других. Я произносил его скорее с удивлением, чем с нежностью или с любовью. Что это — брат? Почему так называется этот знакомый, но чужой мальчик? Вспоминая о нашем детстве, бабушка, бывало, подталкивала нас друг к другу, когда видела вместе, но мы только с недоумением глядели один на другого и не испытывали никаких кровных чувств.
На этой свадьбе мы, дети, тоже должны были казаться счастливыми, делать вид, что рады новой маме. Не знаю, как братья, но мне это было особенно трудно.
И вот свадьба началась.
Собрались гости со всей деревни. Уже несколько дней в доме суетились, готовились, украшали комнаты, чужие люди помогали моей бабушке. И вот наконец столы расставлены, гости сидят, и сейчас должна появиться невеста.
С шумом, с веселой песней дружки уводят ее во двор, давая знать всем друзьям и недругам, что в этом доме сегодня праздник. Бабушка встречает Цару, тоже радуясь, по обычаю, тому, что в дом наш вместе с ней входит новое счастье.
И у отца счастливые глаза. Первый раз за много месяцев я вижу его таким. Он словно помолодел, стал красивым, и кажется, теперь можно понять, почему эта девушка избрала именно его.
Начались тосты, шум, веселье, гости пили и хвалили бабушку, моего отца, Цару...
И только одни глаза не разделяли этой радости, глаза, которые все это время стояли передо мной...
Сначала я тоже сидел за столом вместе со всеми, но потом, когда гости к вечеру разгулялись и начали петь, не выдержал, вскочил и убежал в дом. Там лег на свою кровать и горько заплакал, дал волю тем чувствам, что приходилось прятать все это время. Потом свадьба кончилась, приглашенные разошлись, разъехались по своим домам, и радость и веселье, царившие тут во время торжества, тоже ушли, как будто были лишь гостями в нашем доме.
Уехали и братья. Остались, как прежде, отец, я и бабушка, только к нашему семейству теперь прибавилась Цару.
Я выказал мачехе свою нелюбовь с самого первого дня.
Отец пробовал увещевать меня, сначала говорил с лаской, что-то объяснял, уговаривал, но, видя, что я не слушаю его, не поддаюсь на уговоры, начал сердиться, кричать, впрочем, быстро спохватился, нахмурился, как часто стал хмуриться с тех пор, и отстал от меня.
В доме нашем стал чувствоваться холод, быть может, в первую очередь, из-за меня.
Бабушка тоже в душе не особо любила новую невестку. Правда, внешне на первых порах всячески помогала ей, поддерживала ее, даже пыталась примирить со мной. Однако я чувствовал, что все это делается больше для того, чтобы сохранить внешнее благополучие, не дать во второй раз расколоться семейному очагу.
В общем, благополучие наше было таким, что только ткни его пальцем — и проткнешь

насквозь.
Цару сама пыталась примириться со мной, но у нее ничего не получалось.
Как-то раз она поймала меня, обняла за плечи.
— Алхас, — сказала она, стараясь заглянуть мне в .глаза, — я хочу, чтобы ты не обижался на меня...
— А я не хочу! — грубо перебил я.
— Почему, Алхас? Почему ты все время хочешь сделать мне больно? Я ведь тебя всегда так любила...
— А я нет! Никогда! — прокричал я во весь голос и вырвался из ее рук.
Она заплакала, повернулась и пошла в свою в комнату... В мамину комнату... Вот чего я ей не мог ни за что простить...

19

Наверное, лучше было бы, если бы в наш дом попала не Цару, а какая-нибудь совсем чужая, незнакомая женщина. Я бы, может, с этим и смирился, принял как должное, что вот, дескать, жила где-то вторая моя мама, отец нашел ее и привел.
Но Цару! Какая она мама! Я же ее знал с детства! Я привык относиться к ней совсем по-другому, привык к ее месту в нашей семье, и теперь перемена его казалась мне страшным кощунством. Все время почему-то одно и то же приходило мне на память, как она ходила здесь, помогала, ухаживала за мамой, а теперь сама вот пришла вместо нее. В этом виделось мне жестокое коварство, предательство.
И еще одно с первых шагов настроило меня против Цару. Она сразу же, как только стала хозяйкой в нашем доме, принялась мыть, чистить, убирать, переставлять все вокруг. И мамина комната приняла совсем другой вид. Все, что напоминало мне о маме, что стояло после ее смерти, будучи как бы свидетелем ее пребывания здесь и ее бесконечных страданий, исчезло, изменилось, и последняя память о маме, вылетела вместе с мусором за порог.
Да, правда, из-за маминой болезни в нашем доме не было того идеального порядка, который царил раньше. Бабушке одной тяжело было часто убирать, да и не о том все думали. Теперь, когда появилась Цару, все засияло, стало на место, как будто только ее рук здесь прежде и не хватало. Казалось, это должно было радовать, но меня злило, я стал дома нелюдимым, неразговорчивым; если обращался за чем-то, только к бабушке, отца и Цару старался изо всех сил обходить стороной.
Никто не мог понять, что со мной. А я и не говорил, держал все свои обиды при себе. Из-за всего этого мир никак не мог установиться в нашем доме. Все было нехорошо, все не так. Страдал я, из-за меня — взрослые, то и дело по всяким пустякам вспыхивали ссоры. Иногда я чувствовал, что поступаю неправильно, старался заставить себя вести по-другому, но ничего поделать с собой не мог. Обида была сильнее всех разумных чувств, и каждый раз, когда я видел мачеху, забывал, что давал себе обещание не грубить ей, стараться быть ласковее...
Ясно, что и мне было несладко в доме. Они, взрослые, могли еще-как-то общаться между собой, жаловаться друг другу, а мне и поделиться было не с кем. Иногда, становилось до того невыносимо, что я убегал из дома, шатался где-то целый день и приходил тайком поздней ночью. Несколько раз я убегал к дядьям, где жил младший брат, но отец снова возвращал меня домой, и опять приходилось терпеть то же самое.
Из-за меня стали ссориться и отец с мачехой. Отец жалел меня, кажется, чувствовал все время себя передо мной виноватым, не ругал никогда, только просил, старался примирить с Цару. А она, видя это, набрасывалась на него, мстила ему за все обиды, которые терпела от меня.
Потом случилось так, что и бабушка поссорилась с Цару. Все из-за этой страсти к порядку.

Дом наш, как я уже говорил, с приходом Цару стал выглядеть намного лучше, даже люди со стороны это замечали, хвалили при случае:
— У Бадза дом теперь — не узнать! Все новая жена его, Цару! Сразу видно, золотые руки у нее. По двору и хозяйку видишь!
Но с этим порядком дошло до того, что хватила она через край.
Бабушка уехала погостить к младшему брату и надолго там задержалась. А Цару как раз в это время затеяла новую уборку. Убирала весь дом, заглянула и в бабушкину комнату. Решила убраться и там. Все переставила по-своему, все перерыла, все вещи, что у нее были спрятаны, достала, перетрясла, ни одного лоскутка нетронутым не оставила.
Вернулась бабушка. Увидела сразу же. Такое самоуправство оскорбило ее до глубины души. Никто еще не смел и пальцем тронуть что-то в ее комнате.
Тут же выскочила она на балкон и первый раз на моих глазах закричала:
— Что это такое? Что случилось в моем доме?
Цару высунулась из кухню
— В чем дело, бабушка?
Тут же показался откуда-то и отец.
— В чем дело?! Я спрашиваю, что случилось в моем доме?
— Объясни, мать, из-за чего ты кричишь? — спросил, еще ничего не понимая, отец.
— Из-за чего кричу! А вам что, кто-то сказал, что Баалоу Джармхан умерла? Что ее вычеркнули, просто так, из семьи?
— Никто не говорил, с чего вы взяли? — возразила Цару.
— С чего я взяла? Это ты спрашиваешь? Ты? Перевернула весь наш дом кверху ногами и спрашиваешь? Ты стала умней всех нас? Хозяйка? Самая старшая здесь?..
Отец понял, что скандал затевается не на шутку, и, чтобы не ссориться ни с одной, ни с другой, поспешил спрятаться в кухню.
— Раньше я приходила домой, и это был мой дом. А теперь я его чуть не спутала с другим! Раньше никто не входил без спросу в мою комнату, а теперь ты, ди * *(* Ди — здесь: пренебрежительное обращение к женщине.)*, вывернула ее, как старый мешок, наизнанку! Как у тебя рука поднялась! Кто учил тебя только в детстве! Мать твоя? Тогда уходи к ней и перевертывай все в ее комнате, как хочешь, так и убирай!
Бабушка уже от негодования не помнила себя, кричала так, что на всю улицу было слышно. Кто-то остановился возле нашего двора и стал смотреть в ее сторону.
— Слышишь, ди! А в моем доме я не позволю! Пока я еще жива, пока руки-ноги слушаются, я не позволю! Ко мне еще и люди ходят советоваться! И буду я в доме старшая! Я! Слышишь? Пока живая!..
После того случая и бабушка с Цару стали врагами. Они все-таки были взрослые, умели держаться в рамках хоть и холодных, но внешне пристойных отношений, чтобы не срамить дом перед другими. И тем не менее ясно чувствовалось, что на самом деле между собой они как кошка с собакой.
Вот так и пошла дальше наша жизнь. Год за годом ничего не менялось. Те же тяжелые отношения, те же бесплодные старания отца примирить наконец всех, та же тоска по радости, по обходящему все время наш дом стороной счастью.
Родились и подросли Адамыр и Амина. Может быть, они-то и помогали держаться нашему дому, как бы замазывали своим присутствием те трещины, что с самого начала пошли по его стенам. Амина и Адамыр.
Мои брат и сестра, которых люблю так же, как свои две руки и два глаза!
— На, Алхас, это я тебе нарвала — Амина поднялась по лестнице и протягивает мне букет. Она тоненькая, стройненькая, с чистыми, доверчивыми глазами, один вид ее может растрогать кого угодно.
Она сама приносит в мою комнату кувшинчик с водой, ставит в него цветы, расправляет их; устраивает получше, и комната моя приобретает сразу другой вид, делается уютнее, веселее.

— Алхас, — подходит ко мне Адамыр, — когда поедешь в Абгаларта, меня возьми тоже. Я тебе не буду мешать... Я, пока ты там, мушмулы нарву. А потом все есть будем...
И я, конечно, беру Адамыра с собой.
Или он просил:
— Алхас, ну, когда на рыбалку пойдем? Давай завтра, завтра же воскресенье, меня не заставят ничего делать, и в школу не надо. Пойдем, ладно?
И мы идем с Адамыром на Аалыпсту. Он нашел место, где не ловил еще никто, где все время клюет, торопится привести меня туда и радуется больше моего, когда я вытаскиваю из воды первую рыбу.
— Сегодня у нас в школе утренник, я танцевать буду, Алхас, пойдем!
Мы идем на утренник.
Амина первому говорит мне:
— Меня завтра в октябрята принимают.
— Поздравляю, молодец!
— Я боюсь...
— Не бойся, глупенькая. Пойдем вместе!
Вот так мы с ними дружили. Кажется, за всю жизнь не было между нами ни одной ссоры, если даже и была какая-то, из-за пустяка, я уже и не помню сейчас.
Конечно, постепенно и они стали замечать, что творится у нас в доме. Они не понимали еще всего, но тоже хмурились, когда видели наши стычки, переживали про себя, делались от этого замкнутей, молчаливей. И все-таки, мне кажется, они, именно они хранили нашу семью до поры до времени.
Амина и Адамыр.
Но свара, возникшая в нашем доме, не оставалась долго в его пределах, встала, как говорят, на твердую ногу и пошла дальше, первым делом в родительский дом Цару, где заправляла всем ее мать Ныгутас, такая же своенравная, как и дочка.
Ныгутас насторожилась, обратила глаза и уши к нашему дому, перехватывала каждую новость, которая касалась нашей жизни.
Цару в свободное время стала частенько наведываться к матери, жаловалась ей, отводила душу с человеком, целиком и полночью стоявшим на ее стороне.
И все это обещало, что вот-вот две семьи —наша и Ныгутас — бросятся, потакая взаимной вражде, друг на друга. И уж, надо думать, Ныгутас давно приготовила слова, что собиралась обрушить на нас, она была известна всему селу своим вздорным и мстительным характером.
И стычка в скором времени случилась. Между главными представителями их дома и нашего: бабушкой и Ныгутас.
И дома теперь все чаще стали повторяться стычки, тяжелые для всех сцены.
И вот Цару не выдержала и поставила отцу условие: или бабушка, или она. Либо она станет тут хозяйкой, либо совсем уйдет от нас.
Отец как мог старался усмирить ее, обещал поговорить с бабушкой, со мной, но у Цару был на все один ответ: бабушка или она, и больше слушать ничего не желала.
В конце концов отец не выдержал и ответил на ее вопрос прямо:
— Если так, то будет бабушка,
— Да? Ты решил?
— Да, решил.
Такого ответа Цару не ожидала. Она побледнела, но осталась верной себе до конца.
— Ну что ж, увидим, кому хуже будет.
Повернулась, хлопнула дверью и ушла. Ушла к себе домой.
И никто не побежал за ней. Стали жить, как жили, даже ее дети: словно она просто ненадолго уехала от нас погостить.
Но это была только сперва.
Ущла-то она легко, в один миг решилась, только хлопнула дверью — и все, а вот

возвращаться было непросто. Может, скоро она и сама захотела, да теперь уже гордость заговорила, а ее не так-то просто побороть.
Первыми заволновались дети, стали скучать без нее, все-таки она была им мать, они были привязаны к ней.
— А где мама? — спрашивала Амина у бабушки. — Почему она не приходит?
— Придет, придет, — отвечала та, не зная, что еще сказать. — Подожди немного, скоро вернется.
— А где она так долго?
— Да придет, придет, не беспокойся...
— Пусть тогда она приходит скорее!.. А мама все не приходила и не приходила.
— Ну где же мама? Где она? — спрашивала Амина уже настойчивее.
— Откуда я знаю? — ответила как-то в сердцах бабушка. — Меня не спрашивала, когда уходила, захотела — пришла, захотела — ушла... Тогда Амина бежала к отцу:
— Бабушка раньше говорила, что мама ушла к себе домой погостить, а теперь говорит — не знает. Где же она?
— Гостит, гостит, — отвечал смущенно отец, — бабушка так сказала...
— Пусть теперь приходит! — говорила девочка отцу, и Адамыр, стоявший рядом, молча присоединялся к ее просьбе.
Дети думали, что это от воли отца зависит скорее вернуть маму, не понимали, что он сам здесь такой же беспомощный, как и они. По их расчетам, все сроки уже прошли; если мама отправилась гостить, то давно должна вернуться. Почему же ее нет и нет?
— Хочу к маме! — хныкала Амина.
— И я тоже! — повторял за ней Адамыр.
Скучала, наверное, и Цару по детям, все-таки она любила их, но получалось как в поговорке: низкий не мог подтянуться, а высокий нагнуться — дети не могли пойти к своей матери, а ей гордость мешала вернуться к ним.
Было ясно, что Амина с Адамыром теперь не уймутся, случившегося уже никак не скрыть, дети просто взбунтовались и настойчиво требовали от взрослых хоть какого-то объяснения.
Что было делать? Как ни вертись, а надо бы думать о том, чтобы как-то вернуть мать. Другого-то ничего не оставалось.
Но кто пойдет за ней?
Бабушка? Она и слышать об этом не хотела. Он не говорила Цару «уходи», не скажет ей и «возвращайся».
Отец? Но ему и вовсе гордость не позволяла. Он был мужчиной, главой дома, и идти о чем-то просить женщину, так опозорившую его на глазах всей деревни, значило бы совсем унизить себя. Он скорей бы дал себя убить, повесить на столбе, чем идти к ней кланяться, хотя Цару, скорее всего, ожидала отца, рассчитывала на его мягкий характер. Однако тут расчеты ее не оправдались.
Но все же что было делать с детьми? Как успокоить их? Ведь они не могут без отца, не могут и без матери. На это тоже рассчитывала Цару, хлопнув дверью нашего дома.
И отец это понимал. Но как быть? Сидит, притворившись ко всему глухим, и мучается про себя. А дети хнычут без конца и требуют одно:
— Мама! Мама! Хотим к маме!
И тогда отец с бабушкой решили в самом деле отвести их к Цару. Не самим, конечно, попросить кого-нибудь из близких знакомых, кому можно это доверить...
Так и сделали.
Дети стали жить у матери. Цару ухаживала за ними изо всех сил, старалась привязать к себе так, чтобы они и не подумали возвращаться назад. Но прошло время, и они заскулили:
— Хотим домой! К папе, к бабушке!
— А разве здесь у вас не дом? — ласково уговаривала их Цару. —Будете жить теперь

здесь...
— Нет, мы домой хотим! Там, где настоящий дом. И ты теперь иди с нами! Мы ведь уже много здесь были, теперь надо назад.
— Я не пойду. Я никуда не собираюсь. Здесь мой дом, здесь моя мама, и вы здесь останетесь со мной.
Но дети никак не могли ее понять:
— Ведь там же ,наш дом!. Там! Там мы всегда жили, нас никто оттуда не прогонял. Почему мы туда не можем вернуться?
— Я не могу. Не могу. Понятно вам?
— Но мы хотим домой. Домой!
Они начинали хныкать точно так же, как у нас, когда просились к маме. И Цару в конце концов присылала их с кем-нибудь обратно.
Так повторялось несколько раз. Дети, как челнок у ткацкого станка, сновали то и дело туда-сюда.
Кончилось тем, что все же бабушка не вытерпела, позвала родственников, поговорила с ними и отправила к Цару. Мачеха снова вернулась в наш дом.
Сперва вроде все мы помирились. Прожили некоторое время спокойно. Но тут постепенно началось то, что стало потом главным бедствием нашей семьи. Цару стала втягиваться в торговлю. Тащила ее туда Ныгутас. Она всю жизнь занималась торговлей. Торговля, торговля, больше в ее жизни ничего не существовало. И если в какой-то день она не приносила домой добычи, не заваривала какое-нибудь новое дело, считала тот день пропащим. По ее мнению, человек и жил для того, чтобы ухватить, урвать, обмануть другого.
— Что сама не принесла к себе, никто не принесет, — учила Ныгутас свою дочь. — Запомни это на всю жизнь!
И вот Цару тоже пошла по стопам матери. «Торговля, торговля»,— завертелось и у нее в голове.
Каждый день обе выходили из своих домов и обязательно, куда бы ни шли, встречались на базаре. Крутились-вертелись там до позднего вечера, стараясь нажить лишнюю копейку.
Над ними подшучивали колхозники, говорили им, но все бесполезно, без базара они как будто жить не могли, отучать их от него было все равно что стараться выпрямить хвост у собаки — отпустишь, он тут же загнется опять.
Отец сначала пробовал отвадить Цару, но где там! Постепенно махнул рукой, лишь бы опять не заводить в доме ссор и скандалов. Бабушка терпела молча, она вообще старалась не разговаривать с невесткой ни о чем, кроме хозяйства.
И тут приехал я. После того что я сказал на собрании, Ныгутас стала считать меня врагом номер один. Она и дочери стала нашептывать, чтобы и в той не затихала неприязнь, я мешал им обеим, обе хотели выпроводить меня из моего дома.
Но я приехал сюда не для ссор с мачехой и ее родственниками. В самой глубине души я хотел одного — работать. И на все остальное, что происходило в жизни, смотрел лишь как на помогавшее или мешавшее моему намерению. Что ж, многое мешало, и Ныгутас с мачехой тоже, но я уже понимал, что легкого пути не будет, не может быть, если ты чего-то хочешь добиться. Я собирался вытерпеть все до конца — ради моего главного дела.
Да ведь и не было никогда покоя у художника. Недаром еще давно сказал поэт: «Покой нам только снится».
И он был прав. Это подтверждала вся моя, хоть еще и недолгая, жизнь.

20

Я узнал новость сразу, как только она пришла в Новолуние. Потому что ждал ее больше всех.

И, когда пришла она, почувствовал, что сделался сам не свой. Я был рад, бесконечно рад, но и волновался не меньше.
Приезжает Ада — вот что это была за новость. Она закончила, как и я, свою учебу и едет к нам, будет тоже здесь жить и работать.
Ехать или не ехать ее встречать — я долго колебался. Незнакомая мне раньше робость охватила меня. Я выехал на вокзал пораньше, чтобы никто не увидел, на рынке купил цветы, но, когда подошло время прибытия поезда, пошел почему-то не в сторону вокзала, а совсем в другую...
Когда я вышел на перрон, последние люди уже уходили оттуда. Пустой поезд вздрогнул и тронулся в тупик. Я поплелся к автобусной остановке. Там меня увидела женщина из нашей деревни, тоже ждавшая автобуса.
— Аду ждешь? Она уехала уже на машине, с Абасом, я как раз их видела...
Я так смутился, что ничего не ответил, отошел в сторонку и простоял там до самого отхода автобуса.

...Застолье уже подходило к концу. Мы с Адой так и не поговорили по-настоящему. Я пришел, поздоровался с ней, поздравил с приездом — вот и все, людей было много, ее тянули то в одну, то в другую сторону, за весь вечер мы не обменялись с ней ни одним словом.
Я вышел во двор. По нему еще сновали — от кухни к дому — помогавшие хозяевам на этом празднике; огонь под котлами, в которых варилось мясо, уже не горел, красные угли в золе медленно затухали, как глаза погружающегося в сон человека. По двору полз запах пригорелой мамалыги, оставшейся на дне чугунов. Собаки, утомленные щедрыми подачками, уже не в силах двигаться, стояли тут же, на дворе, как беспорядочно расставленные шахматные фигуры.
Я присел на скамейку. В это время на балкон их нового просторного дома вышла Ада. Замерев, я уставился на нее. Она оперлась обеими руками о перила, подалась вперед, оглядела двор, но меня, сидевшего в тени, не заметила, потом подняла голову, посмотрела на яркое звездное небо...
Ада!
Что я не отдал бы в эту минуту за один лишь миг рядом с ней!
Вот она, совсем близко, на балконе, негромко позвать — услышит, а мне кажется, что сейчас она от меня дальше, чем когда была за сотни километров. Когда мы писали друг другу письма и ждали с нетерпением именно вот этой минуты, встречи в родной, любимой деревне...
Тут на балкон вышел Дата. Как будто специально ждал, когда она останется одна. Вышел и тоже облокотился на перила рядом с ней. У обоих, как мне казалось, были счастливые лица; когда Ада слушала мои поздравления с приездом, такого выражения у нее не было...
Они о чем-то заговорили. Говорили тихо, я не разбирал слов, но как будто понимал все, сердце мое больно сжалось, я хотел тут же встать и уйти, но почему-то не мог даже сдвинуться с места.
Скоро они, однако, вернулись в комнату, а я так и остался на этой скамейке, со взглядом, все еще устремленным на пустой балкон...
Потом я встал, стараясь никому не попадаться на глаза, вышел со двора, прошел немного и остановился, Как будто сердце мое было привязано к этому дому и не пускало, не давало ногам увести далеко от него. А оттуда еще долетали смех и голоса, кто-то уже прощался и уходил домой...
Наконец я понял, что меня здесь могут увидеть и будет неловко, повернулся и побрел в свою сторону.
Сзади послышались шаги. Я обернулся. И сердце опять подпрыгнуло. Это был Дата. Он слегка качался, видно, выпил там как следует, шел осторожно, словно каждый раз выбирая место, куда поставить ногу, не желая обидеть ни себя, ни кого-нибудь вокруг или

под ногами, а на лице была улыбка, как бы заготовленная про запас, на всякий случай.
Он увидел меня.
— О, Алхас! Ты?
— Ну, я...
— Что с тобой? Ты какой-то грустный, что случилось?
— Ничего. Тебе показалось.
— А, ну и отлично! А то я подумал...
— Ничего, можешь не беспокоиться...
— А какая Ада стала! Да? Ты видел? — Он точно не замечал моего недружелюбного тона.
— Еще лучше, чем была!
— Может быть...
— А эта, с ней приехала, Наталья, тоже ничего. А, как тебе? У нас тоже будет работать, мне Ада сказала. Они там, в Харькове, познакомились, вроде как побратались...
— Очень рад за них.
— Нет, Алхас, Ты не прав. Она очень хорошая девушка. Наталья совсем не хуже Ады. Мне очень понравилась...
«Ну и бери себе эту Наталью, — подумал со злостью я. — Что ты мне ее сватаешь!»
Мы еще немного прошли вместе с Датой, он бормотал то про Аду, то про Наталью, наконец я не выдержал и, чтобы тут же не подраться с ним, круто повернул и пошел другой дорогой.
— Куда ты, Алхас, постой! — удивленно прокричал Дата.
Но я даже не оглянулся.

21

Несмотря ни на что, мне снова хотелось увидеть Аду. Ведь в сердце всегда остается надежда, что бы ни случилось, — так уж устроен человек. Но встретиться мне с ней было нелегко. Она не появлялась там, где бывал я, видимо, вообще никуда не ходила, отдыхала дома до того, как начать работать, а пойти к ней я не мог решиться, не было никакого повода, тем более после этой холодной встречи... Так мы продолжали жить, точно путники, дороги котор разошлись...
Мне было грустно все эти дни, я только и думал про Аду, но никому до этого не было никакого дела. Дата с Бадрой каждый день торопили:
— Как дела, Алхас? Скоро кончишь? Пора уже в вывешивать, шум подняли, а надо, чтоб и дело было...
— Давай, Алхас, давай, поторапливайся...
Сколько сразу внимания! А до этого — хоть водой меня унеси, не заметили бы. Конечно, каждый думает только о своем, деле, и ты будешь нужен лишь тогда, когда в нем участвуешь. Так думал я и злился про себя.
У Даты всегда все прекрасно, это уж закон. Он как хорошо настроенный чонгури — все в лад,
никаких противоречий. Поэтому ему и слава вся, где бы чего ни делали. Вот и здесь: не получится эта выставка, скажут: «Кто рисовал? Что за художник? Он виноват!» А получится, так обязательно: «Молодцы комсомолвцы! Кто затеял? Где Дата?» Словом, как в поговорке, держали два брата лошадь, один был конюхом, другой наездником...
Вот такие мысли вертелись у меня в голове. Но все-таки я собрался с духом, пересилил себя, понял, что все это из-за моей обиды, а дело надо было делать. Дата Датой, а я — это я; я взялся — и я должен довести свою работу до конца. Тем более, в самом деле, люди уже о нас заговорили, было бы просто позором, когда, раздув такие слухи, только и оставили бы все на словах.
Надо было заканчивать, и я, собрав волю, принялся за свои рисунки.
И вот настал день, когда работа была закончена. Все портреты, «хорошие» и «плохие»,

стояли у меня дома, на последнем досыхала краска. Дата с Бадро попробовали еще раз сговориться с Абасом, попросили его прийти перед выставкой ко мне посмотреть, может, посоветовать что-то убрать, что-то изменить... Но Абас отказался наотрез. Сказал, сами заварили, сами теперь и отвечайте, а он умывает руки, чтобы его и близко не видели возле этих художеств.
Ну что же, не хочет так не хочет. Решили делать без него. Втроем как-то вечером перетащили все в Дом культуры и развесили по стенам. А на ближайшее воскресенье объявили открытие выставки.
Все это время мы общались с Датой, вместе занимались нашим делом, каждый день виделись по нескольку раз. Он вел себя, словно между нами ничего не произошло. Как всегда, кроткий, точно ягненок, внимательный, предупредительный... Я тоже ничего не говорил, старался внешне держаться наших прежних отношений, но мне это плохо удавалось, я чувствовал, что в моих вроде бы самых обычных словах так и сквозят холод, обида, неприязнь.
И в конце концов Дата не мог не почувствовать этого. Он стал с удивлением присматриваться ко мне, однажды не выдержал и решил поговорить.
Как раз я возвращался из города — ездил зачем-то, а Дата стоял один на остановке, ждал автобуса. Мы поздоровались, как всегда, потом он, немного смущенный, сказал:
— Я все хочу спросить тебя, Алхас... Мне кажется, что ты смотришь на меня как-то...
— Я смотрю на тебя нормально, как на всех, — вспыхнул я сразу.
— Нет, погоди, я же чувствую. Ты думаешь, Ада...
Как только я услышал ее имя, меня снова мгновенно охватило раздражение:
— Чувствуй, что хочешь, мне на это наплевать, и не лезь ко мне больше с этими разговорами!
Я быстро повернулся и пошел к деревне.
Но не прошел я и сотни метров, как новое событие подстерегло меня. Чуть в стороне, на полянке, спрятавшись за колючими зарослями, на поваленном дереве сидели Ада с Цару. Увидев их, я чуть не остановился. Меньше всего я ожидал увидеть Аду в такой компании. Она сразу заметила меня. Цару тоже оглянулась, и обе они замолчали. Я, даже не кивнув им, проскочил мимо, но, когда прошел немного, обернулся, увидел, что Цару бежит к подходящему автобусу, а моя Ада на некотором расстоянии идет следом, за мной.
Ада — за мной, совсем рядом. Я должен остановиться, подождать ее; но почему-то продолжаю идти вперед, почти физически чувствую ее взгляд на своей спине. У меня такое чувство, точно я виноват в чем- то, боюсь ее, как строгую учительницу.
С другой стороны, я изо всех сил хотел, чтобы она догнала меня, и как бы ненарочно замедлил шаг, но Ада, кажется, тоже пошла медленнее, потому что расстояние между нами все никак не сокращалось.
И тут снова произошла неожиданность. С боковой тропинки в десяти шагах передо мной выскочили Амина и Адамыр, видно, возвращались из школы не обычной дорогой, а через заросли, где и я сам любил ходить, когда еще учился. Они радостно закричали и бросились ко мне.
— Алхас, у меня по арифметике сегодня пять! А ты говорил, что я считать не умею! Понял?!
— Молодец, молодец, — вяло пробормотал я.
— А у меня четверка по физике.
— Молодец тоже...
Мой тон их удивил, они переглянулись, потом вопросительно уставились на меня.
Тут как раз с нами поравнялась Ада. Остановилась на минуту:
— Здравствуй, Алхас...
— Здравствуй...
Надо было что-то сказать ей, но ни одно слово больше не приходило в голову. Я глупо спросил;

— Как живешь?
— Хорошо, спасибо. А ты как?
Я пожал плечами и ничего не сказал. Тогда Ада быстро проговорила:
— Ну, ладно, пока, — и пошла дальше.
Я не успел больше ничего придумать, так и остался стоять, растерянный, беспомощный, рядом с малышами.
— Ну пошли, Алхас, что ты стоишь? — Амина потянула меня за палец. — Пошли с нами, этой дорогой.
— Нет, я не домой...
— Пошли! Пошли! Почему не хочешь с нами?
Меня выручил Адамыр. Он схватил Амину за другую руку и поволок на тропинку:
— Что ты пристала, куда надо, туда и идет, пошли!
Амина упиралась, но брат быстро стащил ее с дороги, видно, почувствовал, что тут что-то не так, не просто.
Через минуту они исчезли за кустами, и я остался на дороге один. Вздохнул и пошел дальше. Теперь Ада была впереди, мы как бы поменялись местами, я видел ее спину, и если раньше ноги невольно замедляли шаг, то теперь, наоборот, тащили меня вперед, я их еле удерживал.
Я мог ее догнать, дойти вместе до деревни, но что ей сказать, ведь как будто уже поздоровались, поговорили, все, что можно было, сказали... Так просто идти и молчать? Потом себя же буду винить за эту муку...
И все же я решил, будь что будет! Жди потом такого случая, будешь проклинать себя, что упустил, не воспользовался... И, собравшись с духом, прибавил шагу, а когда подошел довольно близко, окликнул ее:
— Ада!
Она вздрогнула от неожиданности и обернулась.
Я тут же догнал ее и, задыхаясь от быстрой ходьбы, проговорил:
— Ада, я хотел... Я просто... Поговорить с тобой, одну минуту...
Слова мои, как веревки, опутали ее ноги, она стояла неподвижно и смотрела на меня.
— Пожалуйста, говори...
Она сказала это спокойно, даже чуть высокомерно.
— Это важно очень для меня, что я тебе хочу сказать...
— Здесь? На дороге?
— Какая разница! Все равно мне тебя больше негде увидеть...
— Ну, говори...
Я хотел, но никак не мог вымолвить какое-то важное слово, стоял перед ней, как будто в горле ком застрял, как школьник на уроке, все вылетело из головы, что я множество раз повторял про себя в своих одиноких прогулках вокруг деревни.
— Ну, что ты молчишь?
— Ада... Я все вижу, конечно, но я хотел услышать от тебя самой... Вы все время вместе... Ты, Дата... А ведь я сюда только из-за одного приехал...
— Я знаю, из-за чего. Знаю. Если даже ты будешь говорить, что все не так! Приехал, и ради бога, мне-то что!..
— Нет, Ада! Дело не в этом! Ты ничего не знаешь!..
— Я знаю, Алхас! И знаю, что у тебя было в Тбилиси и почему ты уехал из Сухуми.
— Да нет! Ты не знаешь ничего! Я тебе все объясню! Ты поймешь, да! Потому что, потому что...
Я услышал сзади шум мотора, обернулся — это была машина Абаса. Он остановился возле нас, высунулся из окна и крикнул:
— Ада, иди садись.
Ада забралась в машину, но в последний момент обернулась и, видимо, только для приличия предложила: — Хочешь, подвезем?

— Да, залезай, — довольно вяло поддержал ее Абас.
— Спасибо, я пешком.
Они как будто только и ждали этого, машина тут же сорвалась с места и через несколько мгновений исчезла за поворотом.
Я снова оказался один на дороге. Что мне оставалось делать? Пошел, проглотив обиду, домой...
А возле дома меня уже встречала Амина: — Гости, Алхас! К тебе, гости приехали!
— Какие гости?
— Твой учитель, и с ним еще одна — Натела...
Это были Хута Ардзынба и Натела Папба, с ней я учился в Тбилиси, в академии...
Была радостная встреча, обычное застолье, проговорили до глубокой ночи. Потом я показывал им свое Новолуние, ходили по горам, на Аалыпсту, в Абгаларта...
На четвертый день гости уехали. Уехали, увезли от меня вместе с собой короткую радость встречи, понимания, разговоров о том, к чему сильней всего в жизни тянуло.
Но и это малое добро не обошло меня даром. Тут же пришлось поплатиться за него.
Буквально на следующий день после отъезда гостей встретилась Ада. Остановилась, поздоровалась. Потом, как бы невзначай, сказала:
— Что, из Сухуми к тебе приезжали?
— Да, мой учитель и еще одна девушка, мы с ней учились, я приглашал их в гости посмотреть наши места. Мы ведь художники...
— Очень хорошая девушка. Натела ее зовут, да? И мне очень понравилась...
«Даже имя узнала откуда-то, — подумал я — что она хочет сказать этим?» И, еще не сообразив, согласился:
— Да, хорошая девушка, замечательная. И рисует хорошо. Когда мы учились...
— Вот и поздравляю, Алхас. Как раз то, что тебе надо! — Ада повернулась и, не добавив больше ни слова, пошла прочь.
А я так растерялся, что даже не успел слова сказать, остановить ее. И молча, с болью в сердце, смотрел ей вслед.

22

И вот пришел день открытия нашей выставки.
Я думал, что только один жду его с нетерпением, но оказалось, и другие тоже дожидались этого события, с утра возле Дома культуры собралось порядочно народу, все пришли посмотреть на наши портреты.
Собралась, кажется, вся деревня — от мала до велика, от везде сующих свой нос ребятишек до таких почтенных старцев, как Харзаман Ахба — наш лучший пастух, живший у подножия горы Кьянтаз, еще дальше, чем мы, у самой окраины.
Харзамана я, кстати, давно не видел, он же все лазил по горам со своими овцами и козами, целый сезон не появлялся дома, теперь мне захотелось с ним поговорить.
Я подошел, вежливо поздоровался, Харзаман любил, чтобы все было по чину, новой моды вообще ни в чем не принимал, потому, наверное, что проводил больше времени вдали от людей, не замечал, как здесь, внизу, меняется жизнь.
Он тоже заговорил, соблюдая старый абхазский ритуал:
— А ваше как здоровье, дад Алхас? Но сначала как здоровье бабушки Джармхан? Как у нее дела? Передай, я обязан ей по гроб жизни за ее добро, хочу, чтобы и ты знал об этом, дад Алхас. Джармхан — это ваше сокровище, от нее идет слава всей вашей семьи, дай ей бог сто лет еще так править домом, как она всегда правила!
От слов Харзамана о моей бабушке мне стало так же приятно, как если б говорили обо мне самом. Казалось, что часть похвалы переходит на меня.
Так умеют у нас старики: хотят похвалить какой-нибудь дом, начнут с самого старшего, расхвалят на все лады, а кто помоложе — уже как бы под крыльями у него. Таков обычай.

Так учат молодежь уважать старших в доме.
Харзаман воздал должное моей бабушке и только тогда снова вернулся ко мне:
— Ну а как ты, дад Алхас? Давно тебя не видел. Как у тебя дела?
— Спасибо, ничего, живу, стараюсь...
— Дай бог сил твоей душе, дад. Молодец, ты твердо стал на ноги. Когда мы видели в нашем селе художника?!
От этих слов и правда стало тепло у меня на душе, я знал, что в них не было ни дурного умысла, ни насмешки. Слова Харзамана всегда чисты, так же как и его душа. С самого приезда моего в Новолуние ничего подобного я еще не слышал.
Не один я — все ценили у нас слово Харзамана, о чем бы оно ни было. О выставке Харзаман не заговаривал со мной, предпочитая, как в любом деле, увидеть сперва своими глазами, оценить самому. Мы с ним еще немного поговорили о том о сем и разошлись в разные стороны.
И потом несколько раз в толпе мелькала его спина — стройная, гордая, по которой сразу угадывался благородный характер этого человека. Подходя к человеку, он здоровался первым, не считал это за унижение, ему было гораздо дороже мелочной гордости сделать приятное другому. В нем мне вдруг представился образ древнего сеятеля на пашне, разбрасывающего зерна, — так Харзаман разбрасывал добро вокруг себя, ронял эти маленькие крупицы прямо в души людям.
Появилась и Ада со своей подружкой Наталкой. Пришли они не одни — с Датой, который, шествуя сзади, как бы похвалялся: вот каких красавиц привел, это со мной они!
Люди и в самом деле сразу же обратили на девушек внимание, как-то незаметно подтянулись, стали держаться более гордо, независимо, в особенности те, кто был помоложе.
Девушки, конечно, заметили это, Наталка ничуть не смутилась, даже, кажется, была рада, но Ада покраснела, невольно постаралась спрятаться от обращенных на нее глаз.
Странно, ничего особенного не произошло: подумаешь, пришли две девушки, с ними парень — что тут такого? Но меня это взволновало так, как, может, ни одно событие в жизни... Сердце застучало часто-часто, ноги словно обмякли; увидев Аду, я сразу отвернулся, не мог, не имел больше сил смотреть в ее сторону. Но то, что она здесь, рядом, чувствовала каждая клетка моего тела...
В таком состоянии пребывал я, когда Дата, точно ни о чем не подозревая, подвел Аду с Наталкой ко мне:
— Познакомьтесь, Алхас. Это Наталья Олейник, приехала к нам с Украины, к Аде в гости,
— Дата говорил со мной подчеркнуто вежливо, видно, желая показать, что мы тут совсем не лыком шиты. — А это наш художник Алхас Анба.
Наталья подошла ближе ко мне и протянула руку, за ней, как бы вынужденно, приблизилась и Ада.
— Очень приятно! Очень хорошо! — ответила Наталья весело, но довольно безразлично, как отвечала всем, с кем знакомил ее Дата.
Следом за ней поздоровалась Ада:
— Здравствуй, Алхас. Как живешь? Как у бабушки здоровье? — Она обращалась точно в таком же тоне, как и Дата.
— Спасибо, хорошо. А ты как?
— Тоже ничего. Жаловаться не на что.
— Ну что, Алхас, — заговорил снова Дата, как бы не желая, чтобы мы дальше разговаривали, — сегодня у нас с тобой главное испытание!
— Да, если что, вдвоем будем с тобой расхлебывать.
— Не беспокойся, я в кусты не собираюсь убегать. Вместе взялись, вместе и ответим.
Наконец наступил момент, которого все ждали: двери Дома культуры отворились, приглашая собравшихся пройти внутрь.
Люди столпились у входа, но самые первые, не переступив порога, остановились. Двери

были открыты, но кто-то должен был первым открыть дорогу людям. Это предстояло сделать, по абхазскому обычаю, не самому важному по положению, а самому старшему по возрасту, самому почитаемому.
Таким человеком на сей раз оказался Харзаман Ахба; в деревне, конечно, были люди и постарше его, но тут среди тех, кто пришел на открытие выставки, именно он был самым достойным. Харзаман, видно, почувствовал, что выбор может пасть на него, из скромности отошел в сторонку, чтобы не попадаться лишний раз на глаза, но люди все равно стали искать его и нашли. Батал Карба, как тоже почетный человек, громко обратился от имени народа:
— Уважаемый Харзаман Ахба, просим вас первого пройти, открыть нам дорогу! Так ли все считают, люди?
— Правильно! — поддержали его сразу многие голоса. — Харзаман должен пойти впереди!
Но Харзаман стоял на своем месте, и Батал, решив, что тот не понял или не расслышал, сам подошел к нему и повторил просьбу. Харзаман все слышал. Просто он был не такой человек, что примет с первого раза даже честь, которую ему оказывают. Однако поблагодарить он был готов от всей души. Абхазцы вообще любят оказывать уважение, любят и благодарить за него. Харзаман громко, чтобы все слышали, ответил:
— Дорогие односельчане! Большое вам спасибо! Но разве здесь нет людей более уважаемых, более достойных, чем я? Вот хотя бы наш дорогой, наш всеми уважаемый Батал Карба!..
— Нет! — заспорил Батал. — Ты не можешь отказываться. Люди захотели именно тебя! Тебя, дорогой Харзаман! Просим, войди, открой нам дорогу!
— Просим! Просим! — подхватили остальные.
Харзаман не стал больше медлить, чтобы не показаться уж чересчур капризным, и пошел сквозь толпу к дверям. У порога остановился, обернувшись к людям с поклоном.
— Идемте, — сказал он и первый двинулся вперед.
Остальные последовали за ним.
Но как только вошли внутрь, не стало ни старших, ни младших, были только зрители, которых уравнивало их общее любопытство к выставленному на обозрение. Первыми были развешаны по стенам портреты передовиков, и люди сгрудились возле них. Те, кто были ближе к рисункам, не собирались сразу отходить, все вглядывались, старались понять, уловить смысл этого нового дела, и поэтому не всем хватало места, приходилось подниматься на цыпочки, чтобы разглядеть, на что же там смотрят.
Сперва в помещении была полная тишина. Люди только глядели, молча стараясь протолкнуться поближе. В самом деле, никто еще ничего подобного у нас в селе не видел. И поэтому никто не спешил ни хвалить, ни ругать, сначала надо было как следует разобраться. И я ждал этих слов как приговора. Время тянулось, как всегда в таких случаях, в десять раз медленнее, молчание уже казалось мне невыносимым, но люди все глядели и глядели, не произнося ни звука, точно боясь каждый стать той кукушкой, что первой накликала беду и была за это наказана.
Больше всего я боялся молчания! Мне уже чудились за этой тишиной скрытые раскаты грома.
Но все-таки должны были уже хоть что-нибудь сказать! Каким бы новым ни было дело, пусть не окончательное суждение, но простой отклик оно должно вызвать! Вот это вроде понравилось, а это вроде нет, и уже зрителям есть что сказать, спросить, а художнику есть что ответить. Пусть бы хоть с чего-то завязался разговор. А эта тишина угнетала меня все больше и больше, как будто не люди вошли в зал, а внесли огромную неразорвавшуюся бомбу, которая вот-вот должна взорваться.
Потому что такая тишина всегда недолговечна. Она обязательно превращаемся во взрыв, но как взорвется? Вот о чем я думал затаив дыхание. И с каждым мгновением мне все больше и больше верилось, что впереди меня ждет ругань, скандал, потому что было бы

что-нибудь хорошее, конечно, давно бы уже сказали. Но все равно, пусть что угодно, только бы поскорее. Что должно случиться — пусть случится, ждать уже невмоготу!
И вот, наконец, не помню, кто первый, но кто-то сказал:
— А что? Молодцы, кто это придумал! Неплохо!.. Мне лично даже нравится. И не похожи один на другого, не скажешь: одна мать родила. Все как есть, каждого сразу узнаешь.
Люди повернулись к неожиданному оратору, а он продолжал:
— Не знаю, кто рисовал, но я бы этому человеку спасибо сказал, и ему, и его рукам, молодец, надо наших людей рисовать почаще, пусть душа их всем видна будет...
— Да, как живые, — поддержал еще кто-то.
И тут стали хвалить наперебой:
— Хороший художник! Правильно сказали, у каждого не только лицо, и душу сразу видишь!
— И понятно все. Молодец, не малюет, как сейчас модно. Смотришь — и правда человек!
— Да, да, хорошее дело, не надо бросать, пусть теперь люди трудятся, каждый захочет, чтобы его портрет висел.
— А чего хорошего, — вдруг возразил голос, который я сразу узнал, — подумаешь, нарисовал, ну и что! А хорошая фотография разве хуже? Тоже человеку приятно. И ясно сразу, не обознаешься ни за что. А тут поди гадай, где кто, то ли похож, то ли не похож...
Это был наш фотограф, Гуадала Гуазба. Я не обиделся совсем, после стольких похвал разве мог расстроить один этот голос, да и то, как подозревал я, говоривший больше для поддержания своего ремесла, а вовсе не из-за того, что действительно ему не понравилось.
— Ты прав, прав, Гуадала, — ответили тут же. — То-то люди поскольку стоят, смотрят, никак узнать не могут себя!
Люди постепенно отходили от передовиков, собирались возле тех портретов, что висели под заголовком «Кто тянет нас назад». Там толпа получилась еще больше, потому что и подошедшие сначала не уходили, стояли, как прилипшие, переводя глаза с одного изображения на другое.
И снова воцарилась тишина. А вот тут она меня напугала еще сильнее, чем в первый раз. Рассматривали внимательно, видно было по лицам, по движениям мускулов на них, что и этот раздел произвел впечатление.
Да, но какое?
В первом случае молчание больше выражало удивление, отсутствие определенности, теперь же оно было настороженным, люди не смотрели друг на друга, боясь прочесть на чужих лицах насмешку над своим родом, своим сородичем, ведь все в Новолунии так или иначе принадлежали не к одной, так к другой родовой фамилии. Да, в этом молчании почти явственно слышалось мне злое рычание разбуженного зверя, название которому было — обида.
Первой из толпы выбралась пожилая женщина, без кровинки в лице, с помертвевшими губами. Выбралась и, ни на кого не глядя, не замечая меня, зашагала к выходу.
Это была Ныгутас, мать Цару. Уход ее таким холодом пронзил меня, что я даже поежился...
Следом за ней отделилась от толпы и Цару. Она шла, кидая злые взгляды, как острые мечи, готовые рассечь надвое любого, кто попадется на дороге; на меня так взглянула, точно хотела стереть начисто с лица земли, взглянула и так же, как мать, не говоря ни слова, оставила зал.
Потом мимо меня прошли еще две женщины, тоже молча. Холодные, полные высокомерия, с такими лицами, как будто хотели, чтобы я их запомнил навсегда.
Так, поодиночке, вдвоем, группами, люди начали расходиться. Почти все уходили без слов, но некоторые, особенно разозленные, кто узнал себя или близких родственников, хоть и не глядя в мою сторону, но так, чтобы я слышал, скрипели зубами:
— Спасибо, художничек!
— Добился, узнали!

— Запомнили!..
— Хороший подарок!
— Как бы этому художнику самому плохо не стало...
— Получит, что захотел...
Я рассчитывал, что на карикатуры, конечно, кто-то разозлится, но теперь, услышав и увидев все это въяве, стоял как оглушенный, не в силах стронуться с места.
Когда большинство уже вышло, я тоже направился к выходу. Ничего хорошего и во дворе я не увидел. Люди стояли кучками и приглушенно переговаривались, так, чтобы в одной кучке не услышали, о чем идет речь в другой. Но о чем они говорили — и без слов было понятно.
А чего же еще можно было ждать?
На что еще я рассчитывал, когда сунул им под нос это «пусть каждый сам себя узнает»?
Про передовиков как будто и совсем забыли. Точно их вовсе не было. Каждый род помнил лишь того из своих, кто оказался на позорной доске.
«Пусть каждый сам себя узнает».
И узнали, можно было не сомневаться. Не только узнали, но и были ранены, глубоко, в самое сердце, так что и до смерти, наверное, теперь не смогут забыть.
Нашлось, конечно, два-три человека, кто сделал вид, что не придает сатирическим портретам серьезного значения, кто сумел перевести все в шутку. Оправившись от первых минут потрясения, они старались вести, себя так, как будто нарисовали не их, а кого-то другого, но таких было два-три человека, да и то их родственники шипели как змеи, стараясь и необидившихся настроить против меня.
Постепенно, что-то бормоча себе под нос, люди расходились. Я заметил, что Харзаман все не уходил, поглядывал в мою сторону, видимо, собирался что-то сказать. Когда уже почти никого не осталось, он сделал мне знак, и я подошел к нему.
— Молодец, дад Алхас, скажу тебе по душе, мне понравилось, что я сегодня увидел. Ты нашел сильное оружие, которое стреляет метко, в самую точку. Если правильно его использовать, может много пользы принести. Но только не все это поймут. Найдутся у тебя и враги. Уже нашлись, я думаю. Хочу тебе сказать, будь осторожен, дад Алхас. Не то что я пугаю тебя, не подумай, просто говорю, что вижу. Будь осторожен, сам теперь потише держись, чтобы не дразнить зря зверя...
Ну что ж, этого и надо было ждать. Харзаман почувствовал то же, что и я. Ладно, постараюсь быть осторожным, если только это поможет,
«Найдутся у тебя и враги».
Вот с чего началась моя судьба, судьба художника, в родном селе.
Подходили ко мне и Дата с Бадрой, постояли, ничего не говоря, рядом, как бы давая этим понять, что они со мной заодно. Хорошо, хоть кто-то был со мной. Совсем один — не знаю, сумел бы я перенести все это...
А вечером в тот же день, когда я куда-то выходил и возвращался уже в сумерках домой, услышал голоса, звучавшие где-то неподалеку. Они распевали подписи к нашим карикатурам, успев всего за один день запомнить их и приспособить к музыке. Сначала мне сделалось даже приятно, но одна песенка сильно смутила. Это была как раз подпись под тем рисунком, что изображал Ныгутас:

И работа, и сноровка
для торговли — звук пустой,
И поэтому торговка
нас обходит стороной.
Только жадность пышет жаром
и прохожих обдает.
Хорошо, хоть это даром.
Узнаете, кто идет?

На этом стихи кончались, но исполнители продолжили их еще дальше, как будто вынося наружу то, что мы стыдливо попытались спрятать:

Ныгутас вы все узнали,
хоть ее мы не назвали.
Яблочко недалеко
упадет в саду под кочку.
По мамаше вы легко
угадаете и дочку.
Так-то вот, друзья, вот так.
Всяк поймет, кто не дурак!

Последние слова повторяли по нескольку раз, как бы смакуя весь куплет. Песенка летела следом за мной весело, беззаботно; ясно было, что певших ничуть не волновали ни я, ни наша семья, ни мачеха, ни то, чем это может для нас кончиться, им только хотелось сейчас поорать, повеселиться. Я же, когда вошел под эти звуки в наш двор, почувствовал нешуточную тревогу.
И тут как раз вышла зачем-то Цару. Сначала она не вслушивалась в песню, но, уловив случайно имя своей матери и свое, замерла, с ужасом раскрыла глаза. А с улицы снова летело, видно, особо понравившееся продолжение:

...Яблочко недалеко
упадет в саду под кочку.
По мамаше вы легко
угадаете и дочку.
Так-то вот, друзья, вот так.
Всяк поймет, кто не дурак!

Цару с громким криком, размахивая кулаками, бросилась на меня.

23

Но, несмотря ни на что, я работал. Каждый день пытался хоть что-нибудь да сделать. Мастерской тут, конечно, никакой у меня не было, я приспособился на балконе с задней части нашего деревянного дома, срубленного из прочных каштановых бревен. Света здесь хватало, сверху была общая крыша, не капало, снизу не мокло, — в общем, и без специальной мастерской можно было на первых порах обойтись, все какое-то место, не на голой земле.
А вид, что открывался с балкона, был выше всяких похвал. Вилась Аалыпста, как белый башлык абхазского юноши, отсюда же видна была новая дорога в Абгаларта и вся горная часть нашего Новолуния — в ясную погоду близко, как на ладони. А там дальше шли высокие, сверкающие верхушками горы, надолго приковывающие к себе взоры каждого, кто посмотрит на них.
Я полюбил этот балкон, полюбил работать на нем и даже теснота вначале мало меня смущала, настолько приятно было созерцать все окружающее, как бы самому находиться на полотне этой величавой картины.
Еще ко всему было здесь укромно, тихо, не долетали звуки с улицы, и никто не трогал, не мешал мне, — тоже немалое преимущество, если принять во внимание бойкую и общительную жизнь нашего села. Словом, место неплохое, можно работать, если захотеть, а лень, как известно, и в самой лучшей мастерской сумеет найти себе причины.
Не только работать здесь хорошо было, но и отдыхать. В самом деле, разве найдешь

завидней место, где можно остаться одному со своими мыслями, отвлечься от всех забот, глядеть на этот удивительный, как ничто другое успокаивающий душу пейзаж?
Да разве есть что-нибудь лучше на свете? Сядешь на перила, уставишься вдаль, сладость глубокой тишины окутывает тебя, и, кажется, сам начинаешь парить, как птица, среди того простора, что охватывает твой взгляд. Все, что ни есть вокруг, дышит свежестью, покоем, от этого и в тебе самом пропадает всякая усталость. Золотой уголок моего села, предстающий перед глазами, — он обладает такой чудесной силой воодушевлять и умиротворять человека. И никогда бы, кажется, не надоело смотреть на этот пейзаж — начиная с подножия и кончая самыми верхушками гор. С какой-то части гора поросла лесом, но там, где его еще нет, видны сады, лужайки, поросшие густой зеленой травой и похожие на бурки, что бросили на землю для дорогих гостей. И из-за деревьев то здесь, то там выглядывают крыши домов — где цинковые, где из желтой черепицы, выглядывают, словно играют в прятки, словно сами живые, как те люди, что обитают в них. Чуть в стороне — длинные сараи, полные всякого нужного в хозяйстве добра...
Каждое солнечное утро — а на недостаток солнца жители нашего Новолуния еще никогда не жаловались, — каждое такое утро выкатывают из этих сараев деревянные остовы, на которых сушится табак, устраивают их так, чтобы лучше попадали лучи, и оставляют дотемна, давая табаку впитать побольше солнца.
Кукуруза растет такая, что даже издалека видны початки, наливающиеся, желтеющие своими хохолками, ждущие, когда их соберет заботливая рука хозяина. Словом, куда ни посмотри, увидишь что-то доброе, радующее глаз; одно сразу заставляет позабыть другое, и нет картинам этим конца, как нет конца тем рекам, речушкам, родникам, что вытекают из самой глубины веками неизменных гор, из самого их каменного сердца, и потом сбегают вниз мимо этих садов, лужаек, участков...
Если есть у тебя время — смотри, никогда не надоест!
Одни сады — сколько хочешь, какие только не придумаешь! По всей Абхазии знают наши сады и плоды, что растут в них. На рынках берут нарасхват, такая слава идет. В самом деле, как же иначе может быть? Земля наша плодородная, редкая земля, солнца много, а всем известно: хорошая земля и солнце дают самые лучшие урожаи. Но земля и солнце — это еще не все. Нужны умелые руки. Но и руки у нас в Новолунии такие, что тоже можно позавидовать. А садоводы — издавна самые почетные люди у нас. Потому-то и растут такие фрукты, большие, сладкие, прямо дышащие солнцем, сами тают, только возьмешь в рот.
Богата, прекрасна родная земля моя! Так начинаю я думать всякий раз, глядя со своего балкона.
Но несмотря на все это, работа первое время у меня не шла. Не мог я собраться, перенести на холст то, что появилось в голове. Так, по отдельности, были всякие мысли, задумки, но ведь главное — чтобы это зажило единым духом в твоем изображении. А если единства этого нет, то и вся картина ничего не стоит, как бы ни были по отдельности хороши ее детали. Моя земля стояла у меня все время перед глазами, та горная часть деревни, что видна была с балкона. Что бы ни начинал я рисовать, образы задуманного разбивались об этот вид, как волны о скалистый утес.
И странно — как порой бывает трудно заметить очевидное! — мне и в голову даже почему-то не приходило раньше, что все это можно написать. Настолько свыкся я с самого детства с мыслью, что это все наше, обычное, никакая не картина, даже, несмотря на всю любовь, просто вот так существует рядом со мной, как вода и воздух... Что здесь рисовать?..
И начал я только из-за того, что вид этот просто не выходил из головы, думал от него отвязаться, но, работая, понял, что получается настоящая картина, и так загорелся ею, как, кажется, не загорался ни разу в жизни. Мне даже стало казаться, что от нее теперь зависит вся моя судьба, и я работал не покладая рук.
Чем дальше шла работа, тем большее мне хотелось вместить в картину. Каждый штрих,

каждая деталь придавали ей что-то новое, и постепенно тот несравненный пейзаж, что открывался с балкона, как бы переходил с натуры на мое полотно. Одно дополняло другое, разнообразило, оттеняло, отчего и общее, главное впечатление делалось, как казалось мне, ярче, значительнее.
«Горное Новолуние» — так назвал я свою картину.
Много времени заняла у меня эта работа. Приходилось, конечно, отрываться и на всякие другие дела, но, чем бы я ни занимался, только и думал, когда же снова вернусь к ней.
И вот наконец я закончил. И сделалось мне сразу легко, почувствовал в себе силу, уверенность. Глядя со своего балкона на горные просторы, чувствовал, что исполнил свой долг перед ними, стал сразу свободным человеком, готовым браться за любую другую работу. Так и сделал. Не теряя даром времени, начал новую, писал, писал — одну картину за другой. Чувствовал, как все уверенней и уверенней работаю, появляется сноровка, и картины собирались постепенно; не все, конечно, казались такими же удачными, как первая, но в каждой удавалось запечатлеть что-то новое, по-своему дорогое мне. Правда, я еще не представлял ясно, к чему все это, кому покажу, но, главное, работал, и любой сведущий человек сказал бы, что иду в своем деле вперед, становлюсь крепче на ноги.
Но и здесь бывали у меня трудные минуты — куда от них денешься? Вдруг иногда ни с того ни с сего нападали сомнения: так ли все? Взаправду ли это кому-то нужно? Вот сижу на своем балконе, здесь я бог и царь, смотрю на окружающий меня мир, любуюсь им, и он любуется мной... Но кто еще знает об этом? Кто помнит про меня, про мою работу, кто ждет ее?.. Каждый ведь тайно на что-то надеется, но, увы, не к каждому приходит признание...
И все равно, о чем бы ни думал я, меня все время тянуло к работе, это я точно знал, что без нее не могу. Из любого места хотелось мне только сюда, на мой балкон, и пока я ходил где-то, разговаривал, занимался другим, чувствовал все время такое же беспокойство, как мать, оставившая дома малого ребенка. И стоило мне вернуться, взять в руки кисть, как я снова обретал спокойствие и веру в себя.
Здесь, наедине с холстом, я чувствовал незримый взор моей матери, никогда не оставлявший меня, до конца понимавший все, что происходило в моей душе...
И порой мне казалось, что своей работой я только готовился к другому, более важному труду, ожидавшему меня все это время.
К той картине, которую я должен был, непременно должен был создать.
Сколько раз я начинал ее и снова бросал! Откладывал, занимался другим, но все равно — снова и снова тянуло меня к ней, моя мечта не давала мне покоя, заставляла браться за кисть и упорно искать, стараться, несмотря на все трудности и неудачи.
Я должен был оживить образ моей матери.
Просто нарисовать похожим ее лицо было не так уж трудно, но этого, мне казалось, мало, я хотел, чтобы она глядела именно как живая, чтобы каждый, кто знал ее раньше, мог бы сказать: да, это она, ее взгляд, ее душа... Этого я хотел, но так изобразить пока мне никак не удавалось. Вот, кажется, близко, еще один-два штриха, и лицо оживет — но оно не оживало... Я только переделывал, искал, стараясь ухватить ту незримую нить, которая приведет меня к удаче, но эта нить все ускользала и ускользала. И тогда я падал духом. Казалось, все, что ни делаю, только напрасная трата времени. Издалека образ матери возникал передо мной, подходил ближе, уже был совсем рядом, как будто я видел ее воочию, как при жизни. Но вдруг странный туман застилал глаза, окутывал всю ее, и я оставался один, беспомощный, с опущенными безвольно руками...
И так я проводил целые дни.
Когда ничего не получалось, бросал работу и вспоминал мать. Отгородившись от всего мира, не
видел и не слышал ничего, старался повторить в памяти ее милые и неизгладимые черты. Эти воспоминания вели меня, как доверчивого ребенка, за руку, и я все дальше и дальше уходил в свое детство, вместе с тем все отчетливее представляя ее походку, голос,

привычку сидеть за работой — все то, что помнил уже довольно смутно.
Я уже чувствовал себя там, в давно забытом детстве, потому что воспоминания о матери надо начинать именно оттуда.
Из простого копирования внешних черт у меня ничего не выходило нового. Плоский, бескровный силуэт ее вызывал во мне только одну тоску.
Когда же, забывшись, я возвращался в детство, она тут же оказывалась рядом, чувствовала мое присутствие, как умела чувствовать меня даже спиной, когда ребенком возился я во дворе, а она что-нибудь делала в доме, на кухне... В такие минуты я видел в ее глазах тот чудесный луч, который придавал ей именно то, что было связано с ней одной, что воскрешало ее в моей памяти именно такой, как я запомнил ее с тех далеких полузабытых лет.
Вот я пристаю к ней, верчусь рядом, а ей некогда мной заниматься, у нее полно других дел. Но я хочу, хочу быть с ней, потому что она моя мама, и мне хочется быть только с ней. Мешаю ей — это сейчас я вижу, а тогда, конечно, и не думал даже, потом с обидой отбегаю и вдруг падаю, растягиваюсь на животе и еще не успеваю понять, больно мне или нет и надо ли плакать, она уже почуяла недоброе, бежит ко мне и поднимает с земли, гладит шершавой рукой и смотрит своими нежными глазами. Я только что собирался зареветь, уже набрал воздуха, но одного ее взгляда достаточно, чтобы я сразу все позабыл, и вот мне уже не больно, как будто я и не падал совсем.
Глаза моей матери не похожи ни на чьи другие. Это совсем необычные глаза.
Когда мама радовалась, они светились. Вот я вижу их перед собой, преисполненные счастья, излучающие нежность и доброту. К кому бы они ни обращались, утверждали свое: даже если у человека на сердце тоска, если он хмур и печален, все равно не сможет он не покориться их неизъяснимой теплоте, начинает увереннее чувствовать себя на земле, обретает оставившую было его надежду.
— Ни у кого в Абхазии, нан, я не видела таких нежных глаз, — говорила мне бабушка. — Ты должен запомнить это.
Человек, умеющий радоваться, радует всех вокруг — так можно было сказать и про мою мать.
Такой она была, когда радовалась.
А в трауре? В горе? В печали? Каковы тогда были ее глаза?
В печали я ее и видел больше всего, ведь столько времени она была безнадежно прикована к постели! Когда боль терзала, душила ее, она терпела, стиснув зубы, даже не стонала, чтобы не беспокоить нас. Сколько раз в такие минуты я стоял, беспомощный, перед ее постелью, не зная, как ей помочь. Разве могу а забыть то выражение ее глаз, темных, запавших, без слов говоривших обо всем, что испытывала она!
И люди, пришедшие узнать о ее здоровье, даже не спрашивали ничего, когда видели эти глаза, потухшие, страдающие, в них все было написано...
Конечно, человек не может быть всегда ласковым, добрым, когда-то он сердится, выходит из себя, и моя мать тоже не была исключением. И у нее, вероятно, были минуты раздражения, и она злилась, но этого я почему-то не помню. Не могу представить себе ее глаза в минуту зла, просто не вижу их. И сейчас, со временем, мне начинает казаться, что не было никогда такого выражения, не было таких минут...
А какой она была в трауре, об этом говорит мне та единственная фотография, где она сидит вместе с другими скорбящими женщинами.
Единственное фото. Единственная запечатленная память о ней.
Волосы ее на этой фотографии распущены, глаза прикрыты, руки сложены на груди... Сидят перед покойником... Для тех, кто не знал ее при жизни, это единственное, по чему можно представить, какая она была. И я глядел на это фото, потом отрывался, старался мысленно увидеть ее, хотел, чтобы с этой неподвижной карточки она ожившей перешла в мое сознание, не потеряв при этом ни одной мелочи, ни одной черты, свойственной ей при жизни.

...Неожиданно для себя однажды я вспомнил, как она была одета, когда первый раз возила меня в город. Вот как сейчас вижу: идет ровно передо мной, в свободном черном платье, туфли на высоких, но не слишком тонких каблуках, черные гладкие волосы зачесаны назад, собраны на затылке в узел... Я все время любил отставать от нее и смотреть сзади, как она идет. Ни у кого не было такой походки, как у нее. Она шла плавно, не шевеля спиной, точно боясь причинить себе боль... Шла так легко, что казалось, вот-вот оторвется от земли и подымется над нами, улетит в непостижимую для глаз голубизну неба... Никакой лишней тяжести не было в ее теле, и все движения согласно сливались друг с другом.
Да, я помню, помню, конечно, выражение ее лица — в разных случаях, в разные минуты. Но этого мало. Чтобы ее нарисовать, надо что-то большее, не минутное. Иногда я начинаю сомневаться, смогу ли уловить это, получится ли у меня? Лицо ее, на котором так много оттенков, начинает дробиться в моем сознании, расплываться, я стараюсь и не могу собрать все это воедино...
Потому что я хочу изобразить не то, как она радуется, страдает, грустит, не что-то одно из этого, а все, слитое в едином образе... Показать ее такой, как она была, какая и есть для меня. Во весь рост, спокойную, простую и в своей обыденности таящую бесконечное множество оттенков и перемен. Но как сделать это, как воплотить на одном-единственном отрезке холста? Лицо, фигуру — уж как-нибудь нарисовал бы, но глаза, глаза не давали мне покоя! Помню, какими они были в разные минуты, но какими были просто, каждый день, всегда, не могу представить, забыл! Еще больше сбила меня с толку фотография. Лучше, казалось, не видел бы ее, не останавливался на этом отдельном, застывшем выражении.
А истинный образ матери не получался. Я хотел увидеть глаза ее открытыми, ясными, как они с светили мне вначале, старался теперь забыть все лишнее, подойти к ним просто — по своему чувству, по наитию...

Портрет матери был моей главной работой. Остальным занимался так, в свободные минуты, как бы между делом. И жизнь моя, и мысли, и время принадлежали только этому тяжелому, но самому важному для меня труду.

Все-таки удивительно отношение к матери! Давно уже нет ее на свете, и все равно в трудные свои минуты я вспоминаю только ее, бегу, как будто мне все еще пять лет, навстречу, надеюсь, что вот подхватит она меня и прижмет к себе у наших ворот. Кого только не способна навсегда разъединить жизнь: и мужа с женой, и самых близких друзей, кого угодно, но мать с ее сыном — никогда! Никому это не под силу, даже самой смерти!..
Ребенком я бежал укрыться под ее защиту и теперь снова, уже взрослый, мучась над ее портретом, опять ищу ее, взываю к ней. И мне чудится, будто ее ласковые руки опускаются мне на плечи, утешают меня, ее нежные глаза с той же теплотой светят мне. До сих пор, не знаю, поверите или нет, сразу становится мне легче жить, все неприятности как будто исчезают, стоит почувствовать эти дивные руки моей матери. Сам я словно преображаюсь, делаюсь вдвое сильнее и могу дальше сносить все тяготы и неудачи.
Не знаю, была бы она рада, что я стал художником, или нет, но она подходит ко мне просто: не судить, а поддержать, напомнить, что всегда со мной, сколько бы времени ни прошло, сказать, что готова отдать всю себя, готова простаивать тут сколько угодно, лишь бы я не чувствовал себя одиноким. Только за этим приходит, и больше ничего ей не надо от меня.
А я уже потерял счет дням с той поры, как начал рисовать ее. Бьюсь и бьюсь, и не видно работе моей конца. Только одно знаю наверняка, что не будет мне ни отдыха, ни покоя, пока не закончу свою картину, не сделаю ее именно такой, как хочу. И мать моя — единственный мой союзник. Я рисую ее, и она придает силы моему духу.

24

В сельсовете, неожиданно для себя, я встретил Аду. Она сидела и перебирала только что пришедшую почту. Я обрадовался ей и в то же время от неожиданности растерялся, даже не поздоровался сперва, стоял в дверях и с дурацким выражением смотрел на нее. И Ада молчала, глядя на меня большими ясными глазами; молчала, но не так, как молчат незнакомые люди, — за этим молчанием я чувствовал многое, может, даже большее, чем способны сказать слова. И мне стало казаться, что я тону, захлебываюсь в этом взгляде... Наконец я чуть не через силу сказал:
— Здравствуй, Ада,
— Здравствуй.
Я прошел немного вперед и снова остановился, смущенный. Надо было о чем-то заговорить, и я лихорадочно подбирал слова, но Ада опередила меня, сказала каким-то чужим, недружелюбным голосом, от которого сразу стало мне больно:
— За письмом своим пришел? Забирай, вот оно...
— Какое письмо?
— Не догадываешься? От твоей Нателы, какое же еще. Видишь, пишет, не забывает тебя...
— Да нет, я не за ним совсем, я не знал даже...
— Бери, бери, не бойся, вон почерк какой красивый, сразу видно, художница писала.
— Нет, Ада! Ты просто не так поняла... Я совсем не хотел...
Ада встала в это время из-за стола.
— Не хотел, чтобы я видела? Извини, я тоже случайно зашла. Не буду тебе мешать.
С этими словами она повернулась и вышла на улицу.
А я стоял на том же месте, бессмысленно глядя на конверт, не в состоянии даже выскочить за ней, догнать, окликнуть... Проклятое письмо, думал я, и как совпало! Именно в это время, как будто без него неприятностей не хватает.
Мне даже не хотелось его брать. Пусть лежит тут, решил я, пусть она увидит, что мне это письмо совсем не нужно. Как она могла что-то подумать! Если хочет, пусть сама возьмет, прочтет, что там написано! Найдет хоть одно слово, за которое можно меня упрекнуть! Как ее теперь убедить! Читать она, конечно, не будет, а это несправедливое подозрение так и останется, словно прилипнет ко мне. Как объяснить?! Самому прочесть ей? Но она гордая, не станет слушать, к тому же вон как ушла, разгневанная, не оставила даже никакой надежды...
Мне просто хотелось разорвать это письмо!
Но рвать, конечно, было глупо. Письмо-то не виновато! Что изменится? И Натела ничего плохого мне не сделала. Она же не знала, что получится именно так.
В конце концов я все же взял письмо, осторожно, как берут что-то опасное, и положил в карман. Вскрыть и прочитать его здесь я не решился. Потом неуверенно двинулся к двери. Вышел наружу почему-то осторожно, как будто боялся разбудить спящих в окружающей тишине людей. Это был тихий послеобеденный час. Я огляделся по сторонам и никого поблизости не заметил. Ада уже ушла, ушла, оставив меня одного с моими несчастьями.
Я шел не домой, а к окраине нашей деревни, туда, где начинался лес.
В лесу я почувствовал себя совсем иначе. Природа всегда ободряет человека, если даже не вселяет в него новую надежду, то просто успокаивает. И здесь я брел уютной тропинкой, смотрел на землю, на деревья и чувствовал близость к ним и любовь. Слава богу, нам не в чем было винить друг друга. Шел и шел, незаметно прошел весь лес и очутился у подножия Кьянтаза.
И когда отсюда, свысока, я оглянулся на мое село, оно показалось мне похожим на какого-то большого, сильного зверя, улегшегося отдохнуть после только что закончившейся схватки. Лежал он, растянувшись в долине, уткнув голову в подол Кьянтаза, и как-то боязно было нарушать тишину рядом с ним. Я выбрал удобное место и тихо уселся, не отрывая глаз от задремавшего зверя.

И снова, уже не в первый раз, захватила сердце невиданная красота открывшейся мне картины. Чтобы описать такое, конечно, надо быть поэтом. Но всякий, кто живет в Новолунии и может хоть два слова связно сказать, считает себя таковым. Может быть, это и преувеличение, но, в самоде деле, как не сделаться в таком месте поэтом! Наверное, и я болен этой болезнью; не был бы я художником, наверняка бы начал писать стихи, да и сейчас, стоит мне увидеть что-то поражающее глаз, невольно начинаю бормотать стихи, может, для других невнятные, смешные, но понятные для меня. И только потом переношу это на холст, перекладываю в линии и цвета.
Я сидел и смотрел на свое село, и казалось, что оно само подняло меня сюда, чтобы я мог лучше видеть.
А за ним— дальше — было море, и волны расходились по нему веером от набегавшего ветра.
Весь берег, похожий издали на большую, выброшенную из моря рыбу, был усыпан, как точками, коричневыми от загара людьми. Их было так много, что, казалось, и палец между ними не просунешь. То и дело отдельные точки перемещались к морю и делались все меньше, погружаясь в волны. То там, то здесь торчали большие цветные, зонтики, напоминавшие ярких бабочек, которые устали летать и присели немного отдохнуть.
И само море выглядело веселее с наступлением летнего сезона. Всю зиму оно урчит, ворочается, как раненый медведь, поднимается на дыбы, бросается то и дело на берег, но вот приходит лето, и оно, точно утомившись от напрасной злобы, постепенно успокаивается, теряет силу и только тихо шелестит у берега не страшными больше никому волнами. Оседает муть, взбитая за зиму, море принимает другой, чистый и яркий цвет, подобно женщине, которая, чтобы привлечь внимание, к лету меняет свои наряды на более броские и яркие. Вот и сейчас — в разгаре лета — цвет моря радует глаз, успокаивает человека, вселяет не похожее ни на какое другое чувство бесконечной, светящейся, голубизны, бесконечной, захватывающей душу дали.
Прекрасно море, когда смотришь на него с берега. Но еще прекрасней отсюда, свысока, совсем по-иному предстает оно перед глазами. Летом цвет его часто меняется; то один оттенок, то другой, и ты наблюдаешь за этим отсюда, не устаешь поражаться каждый раз новому и новому его обличью.
Простор настолько чист, настолько светел, что невозможно оторвать глаз от него.
А ближе к берегу снуют спасательные катера; как всадники, несутся то туда, то сюда и зорко глядят за теми, кто купается.
До чего хорошо смотреть с подножия Кьянтаза на этот простор, на это чудо и эту голубизну, что называется Черным морем!
Долго я так сидел, долго не мог думать ни о чем другом, кроме открывшегося передо мной голубого простора. Но письмо, лежащее в кармане, напомнило о себе, надо было все-таки его вскрыть, прочитать, о чем написала мне Натела.
Я смотрел на конверт; действительно, адрес был написан четкой, старательной рукой. И уже в самом слове «Новолуние» чувствовалась любовь к моей деревне, равнодушная рука так бы не написала.
Я вынул из конверта письмо и начал читать.
Она писала о моем Новолунии, но находила для него такие слова, такие краски, что я сам как будто первый раз смотрел на него.
Но было в письме и другое.
То, отчего вслед за радостью я почувствовал боль и смущение.
Все время, пока мы учились вместе, я относился к ней просто как к хорошему товарищу, собрату по ремеслу, и ее красота, доброе сердце вызывали только радость за нее, уважение — и ничего сверх этого. Потому что я всегда любил одну Аду и ни о какой другой девушке даже не мог думать. Но Нателе я никогда не говорил про Аду, и, быть может, она восприняла нашу дружбу как-то иначе...
Теперь же, после того как она побывала здесь, видно было, что не только одни красоты

влекли ее сюда, она писала и о другом, обо мне, и в ее словах я не мог не разглядеть нечто большее, чем одно только дружеское чувство. Эта внезапная новость поразила меня, заставила больно сжаться сердце.
А я еще говорил про себя: пусть бы Ада прочла! Теперь мне даже страшно стало думать об этом. Не знаю, что бы я сделал, если бы Ада как-нибудь случайно узнала! Сгорел бы от стыда, прыгнул бы в кипяток!
«Хочу приехать в вашу деревню, пожить там месяца два, быть рядом с вами, с вашей природой, с тобой, Алхас», — писала мне Натела.
Ну что мне теперь ей отвечать?
Что?
Ведь о том, что во всем этом нет никакой моей вины, знаю только я.
А другие? Разве им сумеешь объяснить?
Это было самое страшное для меня, что она собирается приехать. И сказать ей «не приезжай» я ведь тоже не могу! Не могу объяснить ей, какое несчастье упадет на мою голову! К тому же она пишет, что поехать сюда советует ей и наш учитель Хута Ардзынба. Как я им обоим отвечу? Что, дескать, не надо, мне мешает твой приезд, я боюсь его? А она собралась в деревню своего друга, своего однокашника, для которого всегда была готова открыть двери своего дома нараспашку!
И потом, трудно представить, что будет, если о моем отказе как-нибудь прослышат мои односельчане. Этого мне до смерти не простят. Чтобы жители Новолуния отказали кому-то в гостеприимстве?! Позор моего поступка ляжет на всю деревню.
Будь что будет, решил я. Я обязан ее встретить. Обязан, раз так хочет она. Я сам виноват, что с первых слов не рассказал ей все про себя и про Аду, поэтому сам теперь должен буду все расхлебывать.
С этим решением я встал и двинулся назад, к нашей деревне.
Теперь — вниз — ноги сами несли меня, легко, словно не касаясь земли, от этого, наверное, и на душе у меня полегчало.
Натела приехала...
Бабушку так и не удалось уговорить, она не хотела, чтобы Натела жила у нас. Конечно, если бы я ее привел, никто бы не выгнал, но тогда уже дело принимало чересчур серьезный оборот, тут не братом и сестрой пахло, а гораздо большим...
Но, к счастью, Натела и сама не собиралась ко мне, у нее было письмо от Союза художников к Абасу, в котором просили дать ей пожить где-нибудь, чтобы могла поработать в наших местах. Абас поселил ее у Алоу Нанба, нашего ветеринара, который жил один с женой и ребенком в довольно просторном доме.
Когда мы встретились, Натела вдруг и сама смутилась, видно, прочла что-то в моих глазах, а может, догадалась еще раньше. Этот приезд ее совсем не походил на прошлый. Встречались мы редко, так, перебрасывались ничего не значащими словами, спрашивали про успехи, всего раз или два приходили в гости друг к другу, посмотреть, кто что нарисовал. И совсем скоро Натела собралась и уехала.
В тот день, сразу же после того, как проводил ее к Алоу, встретил на обратной дороге Аду.
— Ну что, приехала твоя Натела? Видишь, значит, не зря писала!
— Да нет же, Ада, тут совсем не то!
— Знаю, Алхас. Спасибо, я все уже поняла.
— Ничего ты не поняла, Ада!..
Но мой возглас был уже ей вдогонку. Она, не желая дальше слушать, повернулась и быстро зашагала от меня.

25

...Половина сарая была завалена неочищенными кукурузными початками.

Холодный осенний ветер завывал, скулил на дворе, как несчастный щенок, которого не пустили в дом. И, точно злясь на хозяев, он обшаривал стены, старался пролезть во все щелочки, царапался с досады когтями.
Люди в этот вечер собрались, чтобы ободрать с початков листья, пока они не начали гнить, и свалить кукурузу в одну кучу, где будет она потом храниться всю зиму.
Почему все так любят эту работу и так хорошо смотреть на нее? Наверно, потому, что нет большего удовольствия, чем видеть плоды своего труда, видеть, как зеленая пожухлая масса на твоих глазах превращается в россыпи золота.
Как только подойдет время чистить кукурузу, все, от мала до велика, приходят помогать, так уж испокон веков заведено у абхазцев. Если тебя не было, когда пахали под кукурузу, сеяли, то сюда уж придешь обязательно, все хотят помочь ободрать, ссыпать готовые початки в кукурузники. И теперь, в наше время, едва объявят в колхозе, что пришла пора, люди сами собираются в общий амбар.
И в этот вечер собралось много народу, пришли как в клуб, как на праздник, я уже говорил, любое сборище у нас пользуется почетом, а уж это — особенно.
Кого только здесь не было — начиная с почтенных старцев Новолуния во главе с Харзаманом Ахба и кончая нашей гостьей Наталкой. Была и Ада, это она привела подругу, чтобы показать, как чистят у нас кукурузу, дать самой поучаствовать в таком интересном деле.
Работая вместе с другими, я не мог чувствовать себя спокойно, как не мог никогда быть спокойным, если рядом находилась Ада; то и дело украдкой поглядывал на нее, отводил глаза, старался не смотреть, но глаза сами перескакивали с любого предмета на нее. Мне казалось, что все это видят, я смущался, краснел, хотя, конечно, остальным не было до нас никакого дела, каждый занимался своим. Но недаром говорят: на воре шапка горит, любой, кто посмотрел бы попристальней на меня, мог заметить, что душа у меня была совсем не спокойна.
Я не мог не восхищаться ею и здесь, за работой. Она сидела чуть не по пояс в очистках, листья поналипли и на платье, но все равно была она как цветок, что на весенней поляне среди других цветков, среди в рост ему поднявшихся трав горит ярче всех; сразу, как только приблизишься, останавливает на себе взгляд. Как ей шел ее белый халат, который надевала она в больнице, так и это пестрое ситцевое платьице с красными розами, в котором она сегодня пришла, прекрасно смотрелось на ней, еще больше подчеркивало стройную фигуру. Видно было, что она здесь своя, не просто пришла на время; работает так, что каждому любо поглядеть.
Руки ее красивы, а тут, за работой, — особенно. Не уследишь, как она действует ими, только початки летят один за другим через голову и падают прямо в самую середину готовой кучи.
Но стоило мне перевести глаза чуть в сторону, как сразу охватывало другое чувство — неприязни, почти вражды. Рядом с Адой, рука об руку, сидел Дата. Всегда он был тут, всегда! Не мог оставить ее ни на одну минуту, как будто боялся, что украдут! Он собрал сюда молодежь, и мне вдруг начинало казаться, что он сделал это нарочно, только для того, чтобы прийти и сесть рядом с Адой, появиться лишний раз на глазах у людей с ней вдвоем.
Вообще, Дата — счастливый человек. Все у него ладится как надо: работать берется — работает, людей куда-то звать — идут за ним... Всегда он прав, так уж поставил себя, что люди даже неприятное для себя воспринимают от него как должное. И вот в этой истории с картинами — вроде и он не меньше моего участвовал, я рисовал, он подписи придумывал, но на него мало кто обиделся, большей частью все на меня...
И Ада, Ада, она тоже сама идет за ним, он как будто и не делает ничего, не старается, а они вон все время рядом, о чем я только мечтаю, чего всеми своими силами не могу добиться.
...Гора неочищенных початков постепенно уменьшалась. Брали снизу, и верхние

скатывались на их место, напоминая маленькую горную лавину. Сначала сидевшие по разные стороны от этой горы даже не видели друг друга, теперь стали показываться головы, потом туловища работавших напротив.
Все как бы разделились с самого начала на две группы — пожилые и молодые, и Харзаман устроился там, со старшими, поближе к старикам. У них были свои, видимо не похожие на наши, мысли, разговоры, так и всегда случается, когда собираются люди разных поколений.
Когда кукурузы заметно убавилось, стал уже виден конец работы, Харзаман просветлел лицом, похоже было, что за этими початками он видел все: и то, как рыхлили весной землю, как удобряли ее, как бросали бережно зерна... И не только это, наверное, и другое, этот бесконечный круг сельского труда: посев, ожидание урожая, урожай, опять подготовка к новой весне... Извечный круг, по которому шла жизнь вчера, идет сегодня, пойдет и завтра, незыблемая, благородная основа человеческого существования.
Он оглядел всех нас, улыбнулся, как своим детям, и негромко, но так, что слышно было всем, запел старинную абхазскую песню, которой принято отмечать урожай:

Кто из вас видел, как ломают люди кукурузу?
Чари-чари чарирама, как ломают люди кукурузу?..

Его поддержали еще несколько стариков, и он снова посмотрел в нашу сторону. Тогда и молодежь подхватила следующий куплет, яснее других был слышен, как всегда, голос Даты:

Кто из вас видел, как мелют люди кукурузу?
Чари-чари чарирама, как мелют люди кукурузу?..

Мы пели, и песня сближала, соединяла нас друг с другом и с работой. Скоро кучи совсем почти не стало, мы начали понемногу продвигаться вперед, к центру, с разных сторон, чтобы доставать початки, еще чуть-чуть, казалось, и стукнемся лбами.
Наконец посередине остался всего один початок. И тут Дата сказал:
— Стойте! Последний початок попросим очистить самого почетного человека среди нас, Харзамана Ахба!
— Да! Правильно! — тут же поддержали другие.
Харзаман, видимо польщенный просьбой, поднял початок, содрал с него рубашку, поглядел на прощанье и бросил в кучу.
Работа закончилась.
Мы стали выходить во двор. От долгого сиденья затекли мышцы, и люди потягивались, разводили руками, чтобы разогнать ломоту. По одному, по двое расходились. Дата все вертелся возле Ады и Наталки, что-то говорил им, девушки смеялись.
Меня подозвал Харзаман, справился о здоровье бабушки, мы немного поговорили с ним и распрощались.
Я даже был рад, что так устал, поэтому дома сейчас упаду сразу и засну, не буду долго мучиться тяжелыми, не приводящими ни к чему мыслями. Глаза уже сами слипались, и ноги еле плелись по скалистой тропе, ведшей напрямик к моему дому.
И вдруг точно из-под земли передо мной вырос человек. Я сперва не рассмотрел в темноте его лица, не понял, что случилось, сделал машинально еще несколько шагов и остановился перед ним. Теперь я его узнал. Это был Миха Алтарба, внук Ныгутас. Меня сразу охватило нехорошее чувство, недаром он оказался на этой тропинке.
— Ну, стой, Алхас! — зло процедил он.
— Что ты хочешь?
— Кончилась твоя дорожка. Ты думал, нет у моей бабушки родни? Можно ее каждому, кто захочет, позорить? А?

И тут же, не успел я рта раскрыть, Миха развернулся и изо всей силы ударил меня в лицо, так что зазвенело в ушах, на секунду я потерял сознание.
Но не упал, только отлетел назад; в следующее мгновение, инстинктивно пятясь назад, пришел в себя. Миха снова бросился ко мне, одуревший от злобы, хотел снова ударить, но тут я увернулся, он пролетел мимо всем телом, споткнулся обо что-то, упал, вскочил на ноги, кинулся на меня опять. Теперь я уже не дал ему ударить, ударил сам один и другой раз.
Потом мы сцепились друг с другом, я сам потерял контроль над собой, схватил его за горло, он старался свернуть мне подбородок. Он оттолкнул меня, схватил снова, мы долго боролись, но не могли осилить один другого. Силы кончались, и он тяжело дышал, и мне уже не хватало воздуха. Вдруг он вывернулся и с размаху головой ударил меня в лицо. Я чуть не свалился от боли, почувствовал, как кровь хлынула из носу. Но в тот же миг с новой силой набросился на него, стал лупить как сумасшедший, сам уже не видя куда. Миха отступал к обрыву, я бы сбросил его туда, но неожиданно он поймал мою руку, мы снова сцепились, не устояли на ногах и вместе покатились вниз.
Тут все пропало...
Когда открыл глаза, то увидел, что лежу на одной из ступенек спуска, уходящего в черное ущелье. Все тело было липким от крови, я боялся даже пошевелиться, чтобы не обнаружить переломанные руки и ноги. Посмотрел на небо, оно было мутным, как грязная вода, видно, до рассвета еще оставалось далеко...
Потом все-таки решил попробовать подняться. Но едва шевельнулся, застонал от боли, показалось, тело разваливается по частям. Нет, сил встать не было. С трудом, кое-как, еще подчинялась одна голова. Я почувствовал, что мне трудно дышать. Еле-еле поднял правую руку, потрогал нос. Он был весь в ссохшихся кровяных комьях. Превозмогая боль, удалось кое-как прочистить его, и задышалось сразу свободней.
Не делая больше попыток подняться, я остался неподвижно лежать. Навалилось дремотное забытье, потом снова голова прояснилась. Вспомнилась отчетливо наша драка, все, начиная от встречи и до падения в ущелье.
А где же Миха? Где он сейчас? Насколько было можно пошевелить головой, огляделся вокруг, но нигде его не увидел. Значит, ушел целый и невредимый, улегся спокойно спать, радуясь своей победе. Или, может, так же, как и я, лежит где-то за кустами, не в силах встать, может, разбился насмерть, упал на самое дно?
Но мне разве от этого легче?
Надо как-то выбираться, не лежать же тут на камнях, ждать, пока истечешь совсем кровью!
Я еще раз собрал свои силы, стал на карачки. Вроде все кости были целы, но болели так, что малейшее движение причиняло нестерпимую муку. Я взглянул наверх, на тропинку, с которой падал, она была так высоко, что я даже теперь содрогнулся от ужаса. Как только я остался жив, пролетев оттуда, ударяясь о бесчисленные выступы, стволы деревьев!
Было ясно, что помощи ждать неоткуда, надо выбираться самому. И я, превозмогая боль, пополз вперед, как раненый солдат выползает с поля битвы. Я двигался медленно, подтягивался на руках, как улитка, ползущая по стенке аквариума. Уставал, терял силы, останавливался отдохнуть и снова полз. Но дороге моей, казалось, конца не будет. Тропинка оставалась все так же далеко. Все ныло, болело, во время отдыха еще сильнее, потому что голова тогда ни о чем другом не думала, и сократить эту муку можно было только одним: ползти, ползти вперед, чтобы как можно скорее добраться до дома.
Я увидел удобную площадку сбоку и все-таки решил еще передохнуть, руки уже не держали меня, дрожали и готовы были в любую минуту помимо воли отказать. Подполз туда, хотел устроиться поудобней и тут чуть ниже себя увидел Миху.
Он тоже злобным взглядом уставился на меня:
— Ползешь?
Я не стал отвечать, забыв про усталость, двинулся дальше, пусть остается, черт с ним, я

уже не думал ни о чем, кроме собственного спасения. Но лишь я тронулся с места, как он ухватился за мою ногу. Хочет стащить меня вниз или цепляется за меня, я не знал, я не хотел думать, инстинктивно вырвался и, уже не оборачиваясь, стал карабкаться дальше... Наконец выбрался на тропинку. В небе только-только начинало светать. Встал на ноги и полубессознательно зашагал к дому.
Очнулся уже у своих ворот. Силы мои вконец иссякли. Я повис на заборе и не мог ни двинуться дальше, ни даже пошевелиться.
Первым встретила меня наша собака Бгазлоу. Она выскочила из-под дома и бросилась мне навстречу, начала громко выть, видимо почуяв запах крови.
— Бгазлоу! — еле слышно позвал я.
Она еще громче завыла, закружилась перед воротами.
На ее вой вышла из дома бабушка.
— Что там? Что ты воешь, унеси тебя лихорадка!
Тут мои руки сами разжались, и я рухнул прямо на землю.

26

Снова открыл глаза я уже в больнице. И увидел бабушку, она сидела, наклонившись надо мной. Лицо ее сразу ожило, видно, долго ждала она этой минуты, глаза засветились, как будто огонь, зажгли в темном доме. Не успела она и слова сказать, как мне стало хорошо от ее взгляда, он проникал в самую душу, в самые тайные уголки ее, успокаивал, ободрял всегда, когда мне это было необходимо.
— Я здесь, нан Алхас, я здесь, — проговорила она тихо. — Не бойся, ничего страшного не случилось,
Я слабо улыбнулся. «Ничего»! Как же я тогда оказался здесь, в больнице, почему она сидит над моей кроватью? Но я понял. Она, конечно, не это имела в виду. Она хотела сказать, что не винит меня, что все понимает и мне не надо понапрасну мучить себя.
— Болит где-нибудь? Сильно нигде не болит? Лишь бы переломов не было, а остальное — ничего, скоро заживет.
— Ничего, бабушка, не болит нигде.
— Вот и хорошо, нан, вот и хорошо.
А чего хорошего?
Я видел, что она не верит моим словам, понимает, как мне больно, но просто ободряет, сама боится, как бы не оказалось что-то серьезное.
— Лишь бы не было переломов внутри, а остальное пустяки, ты же мужчина, нан Алхас...
Слова бабушки были для меня лучше всякого лекарства.
Говорили мы мало, она держала, не отпуская, меня за руку, стараясь глубже заглянуть в глаза, по ним прочесть, что со мной, как я себя чувствую.
А мне было больно на самом деле, я боялся, что глаза выдадут это, и отвернулся от нее, посмотрел в сторону. И с удивлением увидел чуть поодаль хорошо знакомую мне спину, спину старой Ныгутас. Она сидела над другой кроватью, скорбно согнувшись и глядя тоже на кого-то.
Откуда она взялась? Что здесь делает? Кто там лежит на кровати? Неужели мой враг Миха? Значит, и он попал сюда следом за мной, недаром говорят: кого ненавидишь, тот и будет у тебя всегда под носом.
Неужели, не ужившись с ним на целой земле, уживемся здесь, в этой небольшой комнатке? Но
кого винить — кому какое дело до нашей вражды, мы оба здесь просто больные, люди, которым нужны врачи, уход...
Да, здесь не суд, здесь больница, но все-таки как это можно, словно нарочно подстроили так, чтобы мы выцарапали друг другу глаза, ведь мы теперь враги, люди, которые не могут даже спокойно думать о том, что и другой живет на этом свете. Братья, не

поделившие родной дом и оказавшиеся вдруг под одной крышей.
Неужели это Миха? А кто может быть еще? С кем бы сидела тут тогда Ныгутас?
А ведь они с моей бабушкой тоже враги, не хуже, чем мы с Михой. И их вражда началась не сегодня, не вчера, уже давно, и вряд ли кончится когда. Как же они находятся здесь, тоже рядом, они, с самого начала не сумевшие дышать одним воздухом? Ведь они будут приходить сюда часто, каждый день, да, наверное, не по одному разу, крутиться вокруг нас в одной комнате, натыкаться друг на друга... Как смогут они? Пожалеют нас, больных, или все-таки, не выдержав, бросятся друг на друга, сцепятся, как два ястреба, не поделившие одну самку?
Да, конечно, это Миха, Миха, кто же еще, как не он! Так уж устроила нам судьба, словно по пословице: кто с дерева упал, того еще и змея укусит!
Другой больной лежал не шевелясь, за спиной Ныгутас я не мог видеть его лица, она сама тоже как будто не смотрела сюда, но все же несколько раз я заметил, как краем глаза покосилась в нашу сторону, и в эти мгновения точно молния проскочила от одного лагеря к другому.
Да, чувствовалось, ничего хорошего в будущем нас не ждало.
Я снова взглянул в теплые бабушкины глаза, и она ответила мне добрым, успокаивающим взглядом.
— Ничего, нан Алхас, все будет хорошо, все будет, так, как ты хочешь!
— Ты, наверное, давно здесь, бабушка, устала, может, пойдешь лучше домой? У меня правда уже не болит ничего... .
— Не беспокойся за меня, нан. С чего мне устать? Не пахала, не работала. Для меня лучше, когда я вижу тебя.
— Ну, потом еще придешь...
— Нет, нет, Алхас! Как это я оставлю тебя одного! Даже не говори!
— Да что со мной случится! И один полежу...
— Случится! Пусть кто-нибудь попробует тебя тронуть! Глаза ему выцарапаю! Жизни не дам, кем бы он ни был!
Ныгутас вздрогнула, как будто ее укололи, заерзала на стуле, и тот, лежавший на другой кровати, зашевелился под одеялом.
Видно, бабушка хоть и не знала правды, но что-то все-таки подозревала и сейчас первый раз вышла из себя, заговорила таким тоном, открыв свое чувство. Конечно, трудно тут не догадаться, но она не хочет сейчас говорить об этом, не хочет, чтобы сильнее не волновать меня, но когда-то же надо будет все рассказать, нельзя скрывать то, что было, бесконечно.
В белом халате, так подчеркивавшем ее стройность, с теплыми, всегда живыми глазами, в палату вошла Ада, врач Ада Назба, в сопровождении медсестры.
— Доброе утро, — сказала она всем нам, не разделяя на врагов и друзей, просто сказала как своим пациентам, ждущим помощи и сочувствия.
Бабушка сразу вскочила:
— Доброго здоровья, нан!
— Доброго здоровья, — повторила хмуро за ней Ныгутас, тоже приподнявшись со своего места.
Мой враг так и не проронил ни слова.
Я посмотрел виновато на Аду и тихо сказал:
— Здравствуй.
Но в первую очередь она направилась к нему, мне даже не кивнула, видно, считала, что общего приветствия для меня достаточно.
Ныгутас сразу засуетилась вокруг кровати, поправила зачем-то одеяло, потом отступила в сторону, освобождая место для Ады, стала у изголовья и крепко вцепилась в спинку кровати.
— Ну, как он?

— Не знаю, нан, не знаю, — забормотала Ныгутас, — молчит, не говорит ничего, вы его посмотрите...
— Как чувствуешь себя, Миха?
Значит, это все-таки был он! Конечно, кто же еще!
Ада присела на стул, где раньше сидела Ныгутас, откинула одеяло и начала осматривать Миху. Я отвернулся, чтобы не походить на того человека, что через щель в заборе, подглядывает за чужим двором.
Если Ада начала с Михи, значит, ему было хуже, чем мне. От этого невольно я ощутил что-то похожее на чувство мстительной радости. Но в то же время подумал, что возрастает моя вина, ведь что, как там было — никто не знает; догадались, наверное, что мы с ним подрались, но настоящей причины никто не знает. Да и кому какое до этого дело, мало ли, с чего началось, важно, чем кончилось. Я отпихнул его, оставил в ущелье, а сам все-таки выкарабкался, доплелся домой! И если с Михой что-то случится, не будут особо спрашивать, как да почему, обвинят во всем сразу меня. Как докажешь, что ты защищался, скажут, самозащита самозащитой, но ты убил человека, за это будешь отвечать! Но с другой стороны, если бы я не оттолкнул его, пощадил бы он меня? Не сбросил бы самого в пропасть? Это потом легко разбирать, а когда я полз, истекая кровью, и почувствовал руку своего врага, разве мог о чем-то думать? Да и потом, неизвестно, поддайся тогда ему, лежал бы я сейчас здесь, на этой кровати?
— Ну что, как он? — спросила Ныгутас, когда Ада закончила осматривать Миху и встала со стула.
— Ничего, будет смирно лежать, поправится, — ответила Ада.
Потом объяснила что-то сестре и, покончив с Михой, направилась в нашу сторону.
Бабушка снова вскочила со своего места, как будто встречала гостя, входящего в наш двор, словно все это время Ады здесь не было и толькр сейчас они увидели друг друга.
— Вот, нан, садись, как тебе поудобней будет...
— Спасибо, спасибо, не беспокойтесь, — ответила, слегка смутившись, Ада, давая понять, что здесь не то место, где надо обращаться с таким подчеркнутым гостеприимством.
Теперь Ада сидела возле меня.
— Как ты себя чувствуешь, Алхас? Давно проснулся? — спросила она просто, как врач пациента, ничем не намекая на все, что было между нами.
— Да нет... недавно... Ничего... — ответил я невпопад.
Она взяла мою руку и стала считать пульс, глядя на часы. Как только пальцы ее коснулись моего запястья, я вздрогнул, словно от удара током, не мог посмотреть ей в глаза, почувствовал, как загорается лицо, постарался отвернуть голову, чтобы и бабушка ничего не заметила. И сердце мое бешено заколотилось в груди, казалось, хочет выскочить и убежать долой со всех ног.
Не знаю, что думала она, считая мой пульс, но, кажется, и не врач заподозрил бы тут что-то неладное. Я понял, что выдал себя с головой, и теперь готов был провалиться со стыда сквозь землю. Но ее лицо, за которым я с опаской следил краем глаза, было спокойным, не говорило ровно ничего; глядящему со стороны и в голову бы не пришло, что мы были связаны с ней какими-то отношениями, скорее походили на людей, первый раз увидевших друг друга.
Когда прошли положенные полминуты, она отпустила мою руку, но не сказала ни слова, да что говорить, и так было все ясно, слепой бы увидел! Она только кивнула деловито головой, чтобы не показать ничего другим, потом легонько постучала по моей груди, как бы говоря сердцу, что уже пора успокоиться.
Но оно только сильней заметалось, забилось, как тигр, загнанный в клетку. И просто так, само не могло остановиться, а тут от чужого прикосновения разъярилось еще больше.
До этого я лежал не двигаясь и только теперь, когда Ада стала осматривать меня, почувствовал, как болит мое тело. Оно было все в ссадинах, ранах, кровоподтеках, казалось, кто-то тысячи иголок вонзил в разные его части.

И еще об одном вдруг подумал я с ужасом. Значит, вчера, когда я очутился здесь, в больнице, она приняла меня, она, вместе с сестрой, обмыла мои раны, вычистила, заштопала их... И я, я — не смевший даже признаться в своих чувствах, робевший от одной только встречи, я лежал вчера перед ней в чем мать родила, полумертвый, грязный, не в состоянии сознавать что-нибудь. А она вертела меня как бревно, как пьяницу, подобранного на улице, — она выполняла свой долг, долг врача, но я, я! — как это только меня угораздило! И попасть именно к ней в руки, не к кому-то другому!..
И она отошла от меня с окровавленными руками, с руками, до которых я не осмеливался никогда дотронуться... Боже мой! Большего стыда и нарочно нельзя было придумать! Неужели за этим несся со всех ног в свое родное село Алхас Анба? Художник, человек свободной профессии?!
«Прости меня, Ада, прости, не хотел я, но так получилось! Что теперь делать!.. Опять все у меня глупо, нелепо, лучше бы не появлялся здесь, зачем приехал? Как говорят: и живым не в радость, и покойникам без надобности».
Тем временем Ада делала свое дело, осматривала, ощупывала меня. Иногда было жутко больно, но я стискивал зубы, старался не стонать, чтобы ко всему еще не показаться ей хлюпиком. Ее лицо было спокойно, как будто все так и должно было быть, ничего страшного не случилось...
Наконец осмотр закончился, и на меня снова натянули одеяло.
— Ну как, нан, как у него, не опасно? — тут же подскочила к ней бабушка.
— Ничего, все будет хорошо...
— Мы тебя так побеспокоили! Чужие люди! Ничего тебе не делали никогда!.. — Бабушка хоть и была сама доброта, но мерила человеческие отношения на этот старомодный аршин.
— Это не имеет значения, — спокойно ответила Ада, — главное, чтобы он поправился. — Она снова повернулась ко мне. — Хочешь выздороветь, делай все, что тебе говорят, Алхас.
— Да, мне уже ничего...
— Будет еще лучше. Ну все, до свидания, — она встала, кивнула на прощание бабушке, Ныгутас и вышла из палаты.
Бабушка снова села рядом со мной:
— Все будет хорошо, нан Алхас, я же говорила! Все будет хорошо!..

27

Утренние солнечные лучи, словно соскучившись по человеку, отрывались от красных гребней гор и летели к светлому, просторному балкону нашего дома. Упирались мне в грудь, оплетали с ног до головы золотыми нитями. И в сощуренных глазах эта золотая паутина переливалась, дрожала, собиралась на лице, щекотала у глаз, приятным теплом обволакивала кожу.
Я сидел на балконе, расслабившись всем телом, проглатывая утренний чистый воздух одну порцию за другой, сидел, и легкие, блаженнке мысли, как солнечные лучи, щекотали воображение. Тишина одурманивала, просачивалась в кровь, как молодое виноградное вино, одновременно распаляла дух и клонила ко сну.
Но увы — недолго длится всякое счастье, лишь бедам порой нет конца, а то отдал бы всю свою жизнь этому новолунскому утру, соединился, остался бы с ним навсегда. Жизнь гнет свое, не спрашивает, хотим мы так или нет, тычет, как слепых котят, в горькое молоко событий...
«Что я сделал такого плохого, что жизнь бесконечно только и мстит мне — ни одного удачного шага, ни одного не обернувшегося бедой поступка?! Разве с самого начала я замышлял что-нибудь злое? Хотел несчастья кому-то? Так почему же все восстает против меня, падает на одну несчастную голову? За что? Не собирался я обижать Миху, а вышло

— чуть не уходили насмерть друг друга, чудом живы остались! Почему, почему все время, где я, там обязательно вражда, стычки, теперь вот и до кулаков дошло!..
Теперь слухи поползли по деревне, знают уже все, хорош я стал в глазах людей! И родня втянулась, у нас ведь нет просто человека, одиночки: обидели одного, значит, обижен и весь род, пойдет свара, которую потом не остановишь. Куда мне убежать? Куда деваться?..»
— Ты здесь, нан Алхас? — Я даже не заметил, как подошла бабушка. — А я думала, ушел куда-то, тихо так сидишь...
— Да нет, здесь, — ответил я, хоть она и сама могла это видеть.
— Отдохнул бы, нан, что ты так привязался, работа, она никуда от тебя не уйдет, всю жизнь с тобой.
— Что отдыхать, и так ничего не делаю! Да никому это и не нужно...
— Не думай об этом, что с душой сделано, всегда людям пригодится. Не одним днем живем, главное, береги себя, чтоб надолго хватило. — Она замолчала на минуту, отвела глаза, потом снова взглянула на меня. — Скажи все-таки, Алхас, что у вас случилось? Знаю, что люди говорят, но хочу от тебя самого услышать.
— Да что еще говорить, бабушка... Так все и было...
— Ну из-за чего вы подрались? Обидел ты его чем?
— Чем я его мог обидеть? Мы и не говорили с ним почти никогда. Не в нем совсем дело...
— Да, я так и знала! Это все Ныгутас! Она, она его натравила! Я сразу это поняла, как только увидела Миху в больнице. Бесстыжая Ныгутас, она только так и умеет. И внук тоже хорош, ночью ждать, как разбойник в засаде! Ну ничего, и ему досталось, другой раз не полезет.
— Нехорошо все получилось, бабушка, очень нехорошо...
— Конечно, что хорошего, но кто виноват? Он виноват, он тебя подкараулил, вот и получил по заслугам!
Она говорила, как будто я вышел из этого дела без единой царапины и вот на другой день сижу себе спокойно на балконе своего дома. Потому что хотела, чтабы я чувствовал себя победителем, был уверен в своей правоте, но как раз этой уверенности во мне и не было.
— Не все так просто, бабушка... Ничего еще не кончилось, а чем кончится, я сам не знаю...
— Пусть только еще тронут тебя! Всех их спалю, уничтожу, вместе с Ныгутас, чтобы и следа ихнего не осталось на земле!..
— Что ты, бабушка! Разве так можно!
— А как? Голову свою подставлять? Пока не сделал своего наш разоритель, надо его самого разорить!
— Тогда найдутся другие, кто разорит нас. Так и пойдет, одни на других, пока совсем не истребят люди друг друга. Нельзя же так, бабушка!..
— Но мы чем виноваты? Почему ты должен за всех терпеть!
Почему?
Этого я и сам не мог понять.
А события шли дальше. Вражда не стихала, наоборот, разгоралась все сильней и сильней. Цару, само собой, тоже не могла оставаться в стороне. Наша семья стала походить на старую хибару, когда на нее налетел шквальный ветер, и она закачалась, затрещала, ничем не защищенная от безжалостных ударов.
Если нагревать без конца камень, то и он лопнет. Не смог выдержать этой обстановки мой отец. Сначала он все был в стороне, старался не вмешиваться, но бесконечные разговоры на деревне, злоба Цару вывели и его из себя.
— Хватит! — сказал он. — Если кто еще скажет мне про него (то есть про меня) дурное слово, выкину отсюда, забудет в нашу деревню дорогу!
Бабушка, сама до этого грозившаяся не меньше, тут вдруг испугалась за него:
— Что ты, Бадз, успокойся! На кого злишься, уладится все само.
— Нет, мать, так не уладится! Человек живет на земле не ради одной тарелки мамалыги.

Есть у него и честь тоже! Я знаю, кто это копает, знаю, не глухой! В своем же доме меня будут позорить!..
Вот этого бабушка и боялась больше всего. Боялась, что, разъярившись на Цару, отец выгонит ее из дома. А кому хочется пережить такое бесчестье на старости лет! Семье горе и, опять же, врагам нашим радость, они же только этого и ждут!
— Бадз, кто больше терпел, тот и больше радости в жизни увидит, не переживай, смирись... — Слова эти бабушка всегда говорила, когда какая-нибудь беда приходила в нашу семью.
— Я мало терпел? Ты думаешь, у меня буйволиная кожа и совсем сердца нет? Хватит! Все! Это мой сын, а не прохожий с улицы, он должен обеими ногами стоять в своем доме! А кто не хочет этого, пусть сам убирается на все четыре стороны!
Часто могло показаться, что отец совершенно безучастен к происходящему в нашем доме, все как будто проходит мимо него, не задевая ничуть. Однако это было не так. Он все видел, все чувствовал, но вынужден был скрывать, чтобы окончательно не расколоть наш семейный очаг. Теперь же терпение его иссякло, и он напрямик пошел против мачехи.
Чем это могло кончиться? Только одним: Цару собрала вещи и решила уйти из нашего дома. И никакие старания бабушки не могли воспрепятствовать этому.
Мне было тяжело, как никогда. Я жалел отца и проклинал на чем свет стоит себя. Ведь я, я, опять я был причиной их раздора.
Когда Цару вышла из дома, дети выскочили за ней, захныкали, не зная, что им делать. Они бросались то к отцу, то к бабушке, надеясь, что большие как-нибудь помогут, пожалеют их, а не себя, прекратят это смутно понимаемое, но ужасное дело. Отец и бабушка прятали свои глаза, потому что сами не знали, что ответить. Тогда Амина бросилась к матери:
— Куда ты, мама, уходишь? Куда?
— Куда? Ухожу! Ухожу, откуда больше не вернусь! — Она нарочно выбирала самые жестокие слова. — На тот свет ухожу, в тартарары!..
— Куда это, мама? — переспрашивала жалобно Амина, ей были еще непонятны последние слова.
— Куда? Куда? — вторил сестре Адамыр.
— Сказала вам: откуда не вернусь!..
— Не ходи туда, мама! — Дети уже говорили сквозь рыдания. — Не ходи! Что мы будем делать!
— Пойдемте вместе со мной. Пойдемте, что вам здесь оставаться? Кому вы нужны!
— А нам зачем? Мы туда не хотим!
— И ты не ходи, оставайся с нами!
Амина с Адамыром забежали вперед Цару и схватили ее за платье, не пуская к воротам:
— Не уходи мама, не надо!
Цару расцепила их руки.
— Не хотите со мной, не надо, пойду одна.
Тут бабушка не выдержала:
— Цару, давай помиримся лучше, останься. Дети же!..
— Не будет мне в этом доме мира никогда!
Я тоже больше не мог терпеть, до этого стоял в доме, не решался высунуться, но тут выскочил во двор.
— Лучшу я уйду. Цару, оставайся. Мне самому так легче будет, если из-за меня дом рушится.
И хотел уже было убежать за вещами, но отец с неожиданной твердостью остановил меня:
— Не ходи! Шагу отсюда не сделаешь! Она хочет уйти, пусть уходит, как вода, и чтобы дороги назад не было.
Тут Амина схватила за руку меня:
— Не пускай ее, Алхас, ты можешь, не пускай!

Но Цару, увидев, что дорога свободна, уже подошла к калитке, открыла ее и вышла на улицу.
Адамыр стоял на месте, словно онемел, и слезы уже не текли из его широко раскрытых глаз, только смотрел вслед матери, и трудно было даже представить, что происходило в его душе.
Но Амина все металась по двору, подбегала то ко мне, то к бабушке, не веря, что ничего уже нельзя поправить, хватала нас за руки, обнимала, плакала, просила вернуть мать... Но мать не возвращалась, и никто из нас не мог побежать за ней. Тогда Амина, последний раз оглядев всех нас, сама бросилась к воротам и с громким криком погналась за матерью.
Я увидел, как Адамыр вздрогнул, сообразив, что Амина тоже теперь ушла, сделал несколько шагов к воротам, потом обернулся к нам, точно спрашивая совета. Мы молчали. Он подошел к калитке и закричал:
— Амина!
Амина, хоть и отбежала уже довольно далеко, услышала его и обернулась.
— Ты не уходи! Иди назад!
— Нет! Пошли вместе!
— Лучше ты вернись!
Амина замотала головой и, больше не слушая его, побежала дальше. Адамыр еще несколько раз крикнул:
— Амина! Амина!
Но она больше не оборачивалась.
Итак, Цару ушла.
Но стало ли в нашем доме хорошо после этого? После того, как следом за ней убежала Амина? Нас всех теперь мучила совесть, больше всех было жалко Амину. Каждый из нас готов был уйти куда глаза глядят, лишь бы она осталась в родном доме. Но что теперь можно было сделать?
Что?
Мы не знали, как взглянуть в глаза друг другу, куда спрятаться. Отец сам не мог оставаться дома, попросился на дальний участок, там оставался и днем и ночью.
Даже если дома живут два-три человека — все равно семья, надо готовить, убираться; весь этот домашний труд лег теперь на плечи бабушки. И ей теперь приходилось не только переживать, но и заниматься домашними делами — кто-то же должен был поддерживать огонь в семейном очаге!
До самого вечера в нашем доме стояла гробовая тишина, как будто жильцы вдруг бросили его, ушли неизвестно куда. А с темнотой бабушка шла в кухню, зажигала дрова, как-то по-особенному тоскливо погромыхивала дужкой котла для мамалыги, и это был единственный звук, оповещавший пространство о том, что здесь есть еще кто-то живой.
Раз и я зашел следом за бабушкой на кухню. Она как раз налила в вычищенный котел воду и хотела повесить его над огнем. Но, едва подняла, тут же застонала, поставила котел на землю и схватилась за поясницу. Я никогда еще не слышал, чтобы она издавала подобные звуки. Подскочил, схватил котел и сам повесил на перекладину. Потом обернулся к ней:
— Что с тобой, бабушка?
— Ничего, нан, ничего. — Я видел, что она говорила это, лишь бы не выдавать свои страдания, которые на самом деле были совсем не так безобидны.

28

Наступила весна. Весна в Новолунии.
Наверное, если подняться над землей, то оттуда, с высоты птичьего полета, наша деревня покажется маленьким абхазским царством, улегшимся поудобнее среди гор, спрятавшим голову, как в подоле, в их подножиях.
Прекрасна моя земля, а особенно в этой весенней одежде. Смело, без смущения и робости

предстает она перед глазами, знает, что не опозорится, откуда бы на нее ни посмотрели. И Новолуние наше — редкая удача! — избрало для себя такое место, где вдоволь пространства, где можно развернуться.
«Весна в Новолунии» — так я назвал новую картину. Рисовал ее не отрываясь, все было перед главами, знал ее до мельчайших подробностей, как мать знает своего ребенка. И сама усталость была приятна, ведь с каждой новой частью затраченного труда новое переходило на мое полотно. И вот наступил день, когда я закончил. Вместил в рамку холста все, что видел, что хотел заставить увидеть и других. И мне казалось, что не ошибся, передал именно тем языком, на котором говорило со мной весеннее Новолуние. Любой бы, кто посмотрел на мою картину, только пожелай он, почувствовал бы все очарование, красоту моего родного села. Так, во всяком случае, казалось мне, художнику, искренне вложившему душу в свое создание.
Едва покончил я с работой, как почувствовал себя необычайно легко, словно вместе с ней освободился и от всех других тяжестей, лежавших у меня на душе. Даже походка, как я заметил, стала легче, идешь — и ноги сами тебя несут; в общем, что говорить, нет приятней состояния, чем вот это — после трудной, но удачно выполненной работы.
Но вот прошло это чувство, увы, не долго длится оно. И снова вернулось старое. Картина картиной, но о ней, к сожалению, не знал никто, а это, неприятное, покуда и было единственным, что связывало меня с людьми. Я испытывал то же, что испытывает человек, который долго приручал ястреба, а когда приручил, тот улетел от него...
Все переплелось, спуталось в один клубок: Ныгутас, Миха, Цару, Ада, мой друг Дата... И с каждым из них я был связан намертво, и чем все кончится, даже не представлял...
Сейчас я думал про Абаса. Со временем я стал замечать в его отношении ко мне скрытую неприязнь. Внешне никак особенно это не проявлялось, здоровался со мной, как со всеми, когда надо было что-то сказать, говорил... Но я чувствовал — сердце не обманешь! — что мешаю ему жить, и здоровается, и общается он через силу, только положение обязывает его быть терпимым.
Человек есть человек, а какое бы место он ни занял, как ни старался бы отойти от личного ради общего дела, все равно обычай, родство, связи дают о себе знать. Слишком издалека это идет, самыми корнями засело в человеческой природе.
Проявилось то же и в Абасе. Может, и хотел он спрятать свое нутро, но не мог. В конце концов, и другие, не только я, стали замечать его нерасположение ко мне.
И все из-за этих картин! Я уже говорил, все у нас так или иначе родня. И тут совпало! Я как-то не подумал сначала, но ведь Абас с Ныгутас родственники! Она родная сестра его бабушки. Хоть они и живут в разных концах и особо близких отношений никогда не было, но тут, раз такое дело, сразу ожило родство.
Я ославил Ныгутас, значит, косвенно и Абаса — как же иначе? Если даже вслух он никогда в этом не сознается, то все равно про себя-то будет думать! Будет помнить и ждать, когда подвернется такой случай, чтобы отомстить. Тут можно не сомневаться. Если ты бросил шапкой в одного человека, значит, бросил и во всю родню, — недаром так говорят.
И Миха, ясное дело, просто так не осмелился бы напасть на меня. Пусть даже они не сговаривались, во что мне трудно, конечно, поверить, но родство с председателем, естественно, прибавило ему смелости, понадеялся, что в случае чего укроется за Абасом, как за щитом. Так ведь и получилось, никому даже в голову не пришло в чем-то официально обвинить его.
Вот какая каша заварилась. Мог ли я все это предвидеть, когда легкомысленно бросился исполнять то, что мы придумали вместе с Датой и Бадрой? Нам-то всего лишь это казалось остроумным и, разумеется, полезным для дела, думали, еще спасибо скажут, хвалить будут...
А получилось — насмерть перессорили два рода да еще самого председателя втянули, не говоря уже про беднягу Миху, о котором до сих пор так и не было ни слуху ни духу. Миха

пропал, исчез из Новолуния, и никто не знал, где искать его.
Вот и Ада. Я не видел ее с того времени, как выписался из больницы. Что она думает обо мне? Тоже считает своим врагом? Наверняка Абас старается ее именно так настроить. Он рядом, а я далеко, и как мне оправдаться перед ней, если даже видеть не могу, не могу сказать двух слов!
Я бы согласился еще раз попасть в больницу, только бы оказаться рядом с ней! Сейчас вспоминаю те дни, словно самые лучшие в жизни. Когда она ухаживала за мной, заботилась, все делала, чтобы я скорей поправился. Пусть это было лишь по долгу работы, но все равно, все равно я хоть мог себя обманывать, что тут есть капля тепла и лично ко мне.
Был и еще один человек, которого уж совсем зря задела наша война. Харзаман, лучший пастух в Новолунии, у кого Миха работал и кому был отличным помощником. Где теперь найти подмену? Тут ведь дело такое, что случайного человека не возьмешь, не каждому дано управляться верно и ловко и, главное, быть надежным товарищем — без этого лучше в горы не ходить. А Миха с Харзаманом жили душа в душу. Харзаман сам часто говорил об этом, радовался, что есть кому передать за многие годы накопленный опыт...
Нет, Харзаман меня не обвинял, он меня любил и лучше других знал Михин вспыльчивый характер... Но мне-то было от этого не легче, я чувствовал свою вину перед стариком, который теперь только и был занят тем, что старался выведать, где Миха.
И я знал, что Харзаман найдет его, где бы тот ни скрывался. Даже если все село позабудет про
Миху, Харзаман не позабудет, не успокоится, пока не выкопает его хоть из-под земли.
И Харзаман выкопал, в конце концов разыскал.
Узнали мы об этом совсем неожиданно, на общем колхозном собрании.
Абас выступал с докладом, говорил о дисциплине. Говорил складно, как всегда, брал вопрос и разделывал его, как хороший мясник тушу, все на своем месте, ни про что не забудет... И случилось ему задеть Харзамана. Не то чтобы всерьез, он вообще на людях старался обходить острые углы, а просто так сказал, что, дескать, привесы немного упали, надо бы на новые пастбища переходить. Ничего обидного, вроде того, что время приходит пахать или сеять, другой бы раз Харзаман только кивнул и не подумал близко к сердцу принимать.
Но тут неожиданно вскипел, вскочил со своего места, так что все повернулись в его сторону, не привыкли видеть всегда спокойного, уравновешенного Харзамана в таком состоянии.
— Я виноват, Абас? Да? На меня теперь все хочешь свалить? Все оглохли и ослепли, думаешь? Нет, не все! Гладко ты говоришь, только слова еще никого у нас не обманывали!..
— Что с тобой, Харзаман? Кого я обмануть хочу? Чем я тебя задел? Я говорю о наших делах, всегда так разбираем, вместе, ничего не прячем...
— Нет, не во мне тут дело и не в делах! — решительно оборвал Харзаман, ударил по сухой ветке, которая должна была и сама обломиться под Абасом. — За себя бы и говорить не стал, я старый, умирать скоро, обо мне уже думать не надо. Тут речь о том, кто только жить начал, и как начал! Своими глазами не увидел бы, не поверил! Позор на ваши головы!..
— Про кого ты, Харзаман? — перебил его Батал, один из находившихся, здесь, кто имел по возрасту на это право. — Скажи нам. За что позоришь?
— Сейчас скажу, скажу, для этого и заговорил. — Он снова повернулся к Абасу: — Дад Абас, я тебе верил с самого начала. Не думал, что так подведешь. Голова у тебя есть, но надо и честным еще быть. Надо, иначе запутаешься, поверь мне, старику, по-другому не бывает. Тем более, у кого власть, тот и за других отвечает. Ты ведь знаешь, кто болезнь прятал дома, у того мать умерла...
— Ну что он, пусть толком скажет! — не выдержал еще кто-то.

Все смотрели теперь на Абаса. На слова, сказанные Харзаманом, надо было отвечать. Обвинение в нечестности — дело нелегкое, даже не верилось, что Абас был способен на подобный грех. Но председатель был явно смущен, хоть, видно, всеми силами и старался скрыть это.
— Не понимаю, кого я обманул, — проговорил он и запнулся, словно проглотил язык.
— Не понимаешь? А где Миха? Куда ты его услал?
— Он услал? — выкрикнул кто-то с удивлением из зала.
— Никуда я не усылал... Он сам ушел... Это вы его не удержали, а я что сделал, я тут при чем?
— Ни при чем? А кто ему дал справку? Кто печать поставил? Не ты? Здесь на нас валишь, а тогда про нас забыл, сам все решил, в одиночку? Значит, народ для тебя — пустое место, только тогда нужен, когда доклады твои слушать, а что поважнее — наплевать на него! Нет, дад Абас, нет, так не получится!
— Какую справку он дал? — спросил с места Бадра.
— И ты ничего не знаешь? А такую, пусть падут твои болезни на мою голову, что освобождается теперь Миха от колхоза. Несчастье случилось — сразу чужой нам стал, больше ненужный. Тоже первый раз слышишь?
Бадра вспыхнул.
— Клянусь тебе, Харзаман...
Но тут его перебил Абас.
— Миха все равно бы здесь не ужился, — проговорил он, глядя в пол. — Должен был уехать и уехал.
— Это ты так думаешь! А мы по-другому. Ошибки исправлять надо, а не прятать. И здесь, у себя дома. Думаешь, только тебе он дорог, потому что родственник? Нам тоже. И не имел ты никакого права прятать от нас. Хочешь жизнь парню искалечить, никто тебе этого не позволит!
Про доклад Абаса теперь все забыли, в центр внимания попал Миха, и говорили только о нем. Каждому стала небезразлична его судьба, говорили, что Миху надо вернуть, нельзя бросать просто так, на произвол, хоть он и виноват, но не преступник же; раз убежал, значит, совесть мучает. Поступок Абаса всех возмутил, ни один человек не встал на его защиту. Дата с Бадрой молчали, точно посторонние, видимо, и против Абаса было неловко им выступать, и в поддержку тоже не могли, слишком очевидна была его неправота.
Да, авторитет Абаса неожиданно сильно пошатнулся. Он чувствовал сам это и на время примолк, понимал: начни тут спорить, можно так осрамиться, что никакая вода потом не отмоет. А такому человеку председателем у нас продержаться нелегко.
Бадра все-таки решил вставить слово:
— А где он, Миха, сейчас?
— Не знаю, я его не искал, — раздраженно ответил Абас.
— Не знаешь? — тут же повернулся к нему Харзаман. — В самом деле? Вот это да!
— Не знаю. Как уехал, я его больше не видел. И видеть не хочу.
— Быстро ты от своей родни отказываешься! Но мы не откажемся. Нет такого обычая среди абхазцев — в беде человека бросать!
— Так берите, берите его, кто вам мешает!
Харзаман разозлился еще больше:
— Бросил нам, как мячик, спасибо! Конечно, возьмем, не беспокойся, не думай, что ты один здесь царь и бог!..
— Так где же Миха? Скажи, Харзаман, если ты знаешь, — вставил снова Бадра.
— Скажу, обязательно, все пускай узнают. Своими глазами видел, несчастья на мою голову! Ладно бы где-нибудь в хорошем месте, делом хорошим занимался, — камень грузит на машины в Скурче, на берегу! А лучший пастух из молодежи! Там ему надо пропадать? Нет, дад Абас, нельзя так людьми бросаться, нельзя. Хороший хозяин и

паршивую овцу не выгонит, а уж доброго работника подавно. Так-то, дад, никуда это не годится!
— А мы уж думали, в лесу где-то прячется, нож точит! — крикнул кто-то из зала.
— Рано человека похоронили!
Снова Харзаман заговорил строго и решительно:
— Надо Миху вернуть, обязательно. И поскорее, пока совсем не отвык от дома. Ребята сдурили, с кем не бывает, исправятся. Мы на то и взрослые, чтобы их помирить, а не натравливать дальше, как тут собираются, позор на нас всех! Надо это дело исправлять.
— Правильно! Вернуть его, вернуть сюда! — тут же поддержали все Харзамана.
На этом и закончилось собрание, ничего интересного больше не говорили.
Но для Абаса дело еще не кончилось. Пришлось пережить ему новое несчастье. На парткоме снова подняли этот вопрос и порешили за самоуправство объявить председателю выговор, чего он уж никак не ожидал. Видно, всех задел его поступок, решили, что если раз простить, дальше совсем может зарваться, что хочешь будет втайне от людей проворачивать.
Прижали Абаса, сильно прижали, и ничего он поделать не мог. Райком утвердил выговор, слишком грубо нарушил Абас устав. Что ж, сам виноват, жаловаться было не на кого.
Можно и не говорить, что после этого меня он возненавидел уже сверх всякой меры. Стоило встретиться с ним глазами, чуть не молнии летели в меня, казалось, если мог бы, на месте испепелил, уничтожил.
Ну что ж, одним врагом больше, надо ли роптать, да еще мне, кому судьба, кажется, только и ждет, как бы подстроить новую неприятность.
...А дома все было так же. Жили, разделившись пополам, как две части одного разбившегося стада. И каждая шла в свою сторону, как будто и не были никогда вместе. Мы, наша половина, тоже разбредались кто куда, целыми днями не видели друг друга и только на ночь собирались под одну крышу, как куры в свой курятник.
Что уж тут говорить о счастье, оно и близко не подходило к нашим воротам!
Как-то вечером, усталый, я возвращался домой и вдруг услышал такой дорогой, давно не слышанный мною голосок:
— Алхас! Алхас!
Это с другой стороны бежала к нашему дому Амина. Я тут же бросился ей навстречу, давно не видел, соскучился по ней.
— Алхас! Алхас!
Она с разбегу бросилась мне на шею, вцепилась и не отпускала, точно боялась, что стоит разжать руки, и нас тут же снова разведут в разные стороны.
Потом я поставил ее на ноги и повел к дому. Она все не отпускала меня, прижималась, пряча лицо, словно стеснялась теперь входить во двор.
Когда мы прошли в калитку, она сказала:
— Я больше там не могу, Алхас! Я хочу домой. К нам домой! А мама не разрешает. Я убежала от нее...
— Ну, теперь ты дома. Не бойся, больше не уйдешь.
Вышла бабушка и тут же заплакала от радости, как только увидела внучку. Амина бросила меня и обняла теперь бабушку, и сразу нам стало так хорошо, как давно уже не бывало.
Но радость эта длилась недолго.
Буквально через несколько минут, не успели мы войти в дом, у ворот появилась Цару.
— Иди сюда, Амина, слышишь? Идем домой! Я тебе говорю! Иди, хуже будет!
Бедная Амина задрожала, боялась мать, не могла ослушаться. И мы сделать ничего не могли, не драться же с Цару на глазах у ее дочери!
Амина, повесив голову, повернулась и пошла медленно к воротам, к поджидавшей там матери.

29

Неожиданно заболела бабушка. Схватило под правой лопаткой, когда возилась в кухне, застонала; хорошо, я был дома, подскочил, отнес ее на кровать. Сперва даже пошевелиться не могла. Беспомощная, со впалыми глазами, лежала она, стараясь не стонать; видно, больше, чем за себя, переживала за, нас, что доставила хлопоты, заставила возиться с собой.
Бабушка считала, что только она одна должна ухаживать за всеми — готовить, стирать, убираться, делать тысячи маленьких домашних дел. До того, как она слегла, мы и не представляли, что все это значит. Весь дом лежал на ее плечах, а мы настолько привыкли к этому, что теперь, без нее, стали беспомощными, как цыплята, что еще ходят за квочкой, а без нее не могут сделать ни шагу. За несколько дней у нас захламилось, все заросло грязью, особенно на кухне, то и дело приходилось бегать к бабушке, спрашивать, где что взять и как сделать. Вещи забыли свои места, каждый клал куда попало, и из-за какой-нибудь чепухи, вроде половника или котелка, порой приходилось обшаривать весь двор. А еще скотина, и за ней надо было ухаживать!..
Дня три мы не вызывали врача, бабушка не хотела, думала, так, само пройдет. Но ей, наоборот, становилось все хуже и хуже. Дальше тянуть было нельзя, пришлось отправиться в больницу.
Пошел я. Для меня это было нелегким предприятием. Опять звать Аду к нашим болезням, опять, только я ушел от нее, теперь бабушка... Как будто нарочно все это подстраиваем, чтобы только ей покоя не давать...
Но куда деваться? Раз такое дело, никакие неудобства не могли идти в счет.
Встретил меня главный врач Алдыз Блабба. Видно, понял по моему лицу, что у нас несчастье, и, даже не сказав «здравствуй», сразу спросил:
— Что случилось? Кому-то плохо?
Я рассказал ему про бабушку. Он поругал меня, что сразу не позвали, и тут же начал собираться. Выскочил за дверь, крикнул:
— Ада, свободна? К больной надо, вместе пойдем.
Мы вышли, остановились во дворе, поджидая Аду.
Через минуту появилась и она. Поздоровалась со мной как ни в чем не бывало.
— Бабушка заболела?
— Да, под лопаткой что-то...
Мы шли почти без разговоров, я по одну сторону от Алдыза, Ада по другую.
Дома они начали осматривать, ощупывать бабушку со всех сторон, задавать бесконечные вопросы, под конец так измучили, что мне даже стало жалко, что подвергли ее этой, пусть необходимой, процедуре. Потом объявили нам, что она, видимо, надорвалась, нельзя было поднимать тяжелое, подняла, и из-за этого все случилось. Теперь надо только лежать, и главное — уход; чем лучше будем следить за ней, тем быстрей поправится. Особенно беречь от сквозняков, не дай бог, продует, тогда перейдет на всю спину, совсем может никогда не встать.
Алдыз понаписал рецептов, постарался объяснить, что нам надо делать, обещал, что, если понадобится, Ада будет тоже приходить.
На том и распрощались...
И действительно, Ада не забывала нас. Видела нашу беспомощность и потому большей частью все процедуры проделывала сама. Растирала бабушку мазями, делала ей массаж, завязывала, чтобы не продуло, теплой шалью.
Бабушка, кажется, была счастлива и благодарна ей безмерно, так и сияла вся, едва Ада появлялась у нас в доме, ласкала, не переставая, взглядом, когда та сидела над ее постелью. И Ада, словно считая наш дом каким-то особым местом, держалась с исключительной лаской и заботливостью.
— Ах, побеспокоили тебя, Ада! — вздыхала то и дело бабушка, если слишком надолго,

как ей казалось, наступало молчание. — Как побеспокоили!
— Что вы, при чем здесь это, я делаю то, что обязана для всех больных делать...
— Не думай, что я не понимаю, — тут же возражала бабушка, — совсем не обязана! Почти каждый день ходишь!.. Пусть тебе за все это добром отплатится!..
— Да ничего страшного, ничего.
Но бабушка не слушала Аду, все равно твердила свое, ей всегда любые заботы о себе казались чрезмерными.
К этим визитам Ады и я старался оказаться дома; заметил часы, когда она приходила, хотя Ада, чтобы чересчур не обязывать нас, то и дело говорила, что заглянула случайно, по дороге, зачем-то понадобилось в наши края.
И со мной в нашем доме Ада делалась приветливей. Первая заговаривала при бабушке, просила помочь то здесь, то там, словно сама не могла обойтись. Я с готовностью выполнял все ее просьбы и ждал все время чего-то большего, но, увы, дальше вот этих простых слов и распоряжений дело не шло. Она была вежлива, дружелюбна со мной — и только.
Бабушку же и это радовало. Я видел, она исподтишка наблюдала за нами, каждое слово Ады, обращенное ко мне, отражалось улыбкой на ее несчастном лице.
Но стоило нам с Адой очутиться за порогом нашего дома, как она тут же преображалась, делалась совсем не такой, как минуту назад, — замкнутой, холодной, как будто совсем другая девушка.
У меня просто сердце обрывалось тогда, не знал, что сказать, как к ней подойти, казалось, все в жизни потеряно, отрезаны пути, — но вот мы снова рядом, у бабушки, и снова в глазах ее то же тепло, и я готов верить, ждать от жизни лучшего, терпеть свои несчастья сколько угодно.
Она разрешала провожать себя только до ворот, только этот короткий отрезочек и оставался мне для того, чтобы побыть с ней вдвоем. Как ни крепился, я не мог заставить себя молчать. Нерешительно, глотая слова, пытался завести речь о своем чувстве, но Ада тут же обрывала меня:
— Алхас, я не хочу про это слушать, не говори мне ничего. Ты знаешь, что я сюда хожу совсем для другого. А если будешь, вообще перестану...
Но приходила все равно, и я опять, не выдержав, начинал свои признания...
Бабушка, когда я сидел с ней, говорила:
— Господи, какая Ада девушка! Лучше и не найти! Если бы у меня такая сноха была, я бы и умерла спокойно. Слышишь, нан, что я говорю?
Я слышал, конечно, слышал, но что мне было ей ответить? Что? Поэтому притворялся смущенным или ничего не понимающим и отводил глаза.
А бабушка по-своему толковала это, думала, я не открываюсь перед ней из уважения к обычаю, по которому до времени говорить о таких вещах перед старшим считалось неприличным. Но все равно, обычай обычаем, а ей хотелось знать, что у меня на душе, надеялась, хоть намеком обмолвлюсь об этом. Вообще ей доставляло удовольствие говорить про Аду, она даже не подозревала, какое больное место задевала во мне.
Дом есть дом, неважно — много там людей живет или мало, надо все в нем делать, заниматься каждый божий день. Отец домашней работы никогда не касался, единственное, что он делал, — ухаживал за скотиной, вот и все. Да и не принято было, чтобы мужчина возился с веником или горшками, его работа — на участках, в поле. Поэтому все по дому приходилось выполнять нам с Адамыром.
Первый раз, когда Адамыр начал мести пол, он от усердия так сильно размахался веником, что пыль полетела по всему дому, вместо уборки стало получаться что-то совсем противоположное. Но я его быстренько научил и этому, и разным другим вещам; главное — он старался, хотел мне помочь, понимал, что кроме нас хозяйничать теперь некому.
Но трудней всего было готовить. Мы-то могли бы и так, без готовки, обойтись, но для больной бабушки нужна была настоящая еда. К тому же мы не хотели опозориться перед

ней, лучшей хозяйкой Новолуния — Баалоу Джармхан, столько лет такими отличными кушаньями кормившую всех нас.
Первый раз мамалыга, которую сварили мы с Адамыром, получилась как неподошедшее тесто, есть никто из нас не стал, даже Бгазлоу, которой в конце концов все это досталось, отвернула морду, забрезговала. Пришлось выкинуть нашу мамалыгу.
Пошли к бабушке спросить, что у нас не так. Мы и сами много раз видели, как варят мамалыгу, но оказалось, смотреть со стороны и делать самому — совсем разные вещи. Да и смотрели мы всегда краем глаза, без всякого любопытства, думали, нам-то уж этим никогда не придется заниматься. А оказалось — пришлось. Вообще так ко многому человек относится в жизни: то его минует, это обойдет, а глядишь — и не обошло, и не миновало, только спохватывается он всегда слишком поздно. Вот мы — привыкли есть все готовое, как будто все делается само, и сразу, чуть что-то переменилось, — пришла беда, пришла, как гость во двор, где не ждали его, где не встретила его ни одна душа. Оказывается, поздно засыпали мы крупу, а муку рано и не тогда размешивали, и надо одно делать, когда еще совсем холодная вода, другое — когда закипит; в общем, все не так, поэтому и пришлось выбросить.
Зато на второй раз уже можно было есть, по вкусу явно напоминало мамалыгу, хоть еще с виду получалось не очень, старались не глядеть, когда ели. Но все-таки не так, как вначале, теперь мы были горды своей работой.
Бедная бабушка, а как она все это переживала! Ругала себя на чем свет стоит, дескать, вот она слегла, старая карга, и нас только даром мучит, все равно на тот свет, так уж лучше б сразу!
И все же я думал: хорошо, что рядом с ней оказался я, а не Цару, хоть и неумелый, и мужчина, но кое-как помогал, мачеха одним своим видом больше бы замучила ее, насколько бабушке было бы тогда горше и обидней!
— Ах, нан, — говорила она, — стыдно мне здесь валяться, а все же, видно, не забыл бог меня: за то, что никому в жизни зла не делала, тебя послал, не кого-то другого.
Пока я был рядом, никогда не стонала она, не жаловалась на свою болезнь, если даже делал
что- то неловко, забывал, ни за что не подавала виду, как будто все у меня получается как нельзя лучше.
С тех пор как заболела, сон ее сделался беспокойным, она часто стонала во сне, сама знала про это и потому днем старалась не засыпать, терпела боль, стиснув зубы. Но ведь ночью надо было спать, и тогда мы все становились свидетелями ее мук. Иногда она бредила о нас, о том, что заботило ее всю жизнь, что не переставало волновать ее и теперь:
— Амина раскрылась... Не видите?.. Амина... Накройте... Накройте!.. Алхас, нан, ты здесь... Не уходи... Не ходи ночью... Осторожно... Все здесь... Где Адамыр? В школе? Почему так долго, уже должен прийти... И ты, Бадз, сынок... Голодный? Поешь, ты давно не ел. Уйдешь всегда, а горячего не поешь, умереть мне!.. Спасибо, Ада, хорошо, спасибо, что пришла... Где ты, Алхас? Ада пришла! Где ты? Не видишь, Ада уходит! Проводи ее. Проводи обязательно...
Я не мог сдержать слез, когда слышал все это.
А бабушка все не переставала сокрушаться:
— Лучше б меня сразу бог прибрал, чем вот такой сделать! Больше всего тебя, нан, жалко, столько тебе со мной хлопот! Только жить начал, домой приехал, и я тебе на шею сразу свалилась, распрямиться не дала. Думала, при жизни счастье твое увидеть, а оно вон как получилось... Только хуже еще испортила. Связала ноги твои, как веревка...
— Не говори так, бабушка! Ты поправишься, скоро совсем поправишься, Ада сказала, обязательно встанешь...
— Дай бог ей здоровья! — Лицо бабушки оживало при одном ее имени. — Все бы женщины были такими!..
— Да, мне она тоже... Я...

— Вот, только до этого бы дожить, чтобы увидеть вас вместе, тогда хоть живую в воду пусть бросают, буду счастлива! Только бы до этого дня! Как обидно будет, если не доживу, не увижу своими глазами!..
Я хмурился, а бабушка замолкала, улыбаясь своей мечте, к осуществлению которой, казалось ей, никаких серьезных преград нет. Ада была началом и концом всех разговоров обо мне, и я сам жаждал услышать лишний раз ее имя, и в то же время ничто другое не заставляло меня так страдать.
Часто, как принято в деревнях, приходили гости — посидеть у постели больной. Особенно соседи — скучать не давали, бывало, сменяя друг друга, просидят целый день, с утра до позднего вечера.
Наведывались и дальние, кто далеко от нас жил. Как-то вечером появился Харзаман Ахба, чей дом стоял на другом конце села. Он въехал во двор на своей резвой лошадке, с которой почти никогда не расставался. Этому визиту мы все обрадовались, особенно бабушка.
Она как могла привела себя в порядок, попросила поправить постель — хотела выглядеть перед ним как следует, даже в болезни, словно ничего особенного и не случилось. Все пожилые люди у нас в Новолунии таковы. Стоит сойтись, бодрятся, ни на что не пожалуются, всю волю соберут, чтобы показаться полными сил, молодыми, не ударить в грязь лицом перед сверстниками.
А бабушка, — разве она могла допустить, чтобы Харзаман, знавший ее еще в молодости, видевший ее красоту, встретил бы теперь жалкую, беспомощную старость! До конца жизни она хотела гордо нести свое имя, известное имя Баалоу Джармхан, которое когда-то прославляли юноши, подыгрывая себе на ачамгуре * *(* Ачамгур (абх.) — то же, что чонгури (груз.))*.
Ведь Харзаман помнил и тот день, когда ее с веселым гиканьем и стрельбой из ружей ввели в дом моего деда Баса Анба, — Харзаман был тогда в числе дружков жениха.
И вот теперь он опять должен войти в этот же дом, но, увы, совсем не на праздник!..
— Дошли до меня слухи, что Джармхан немного приболела, — начал дипломатично Харзаман, после того как поздоровался, — вот мимо ехал, решил сам проведать, поглядеть на тебя. Давно не виделись! Я-то все в горах, редко дома, спущусь раз в год, как медведь на кукурузу.
— Спасибо, что зашел, Харзаман. Побеспокоила тебя, умереть мне! Ничего со мной, ничего страшного, спину застудила немного, скоро, говорят, пройдет. А твое как здоровье, как ты? — постаралась поскорее переключить разговор бабушка. — Правда, господи, сколько не виделись!..
— Да я неплохо, спасибо тебе, Джармхан, хожу пока, ноги держат...
— Дай бог тебе долгой жизни! Все у тебя хорошо, только жить! И детям, и внукам твоим житья, чтобы и они порадовались, и ты посмотрел!
— Благодарю! Пусть живут, вроде и правда бог счастьем их не обошел...
— Мне Алхас говорил, он недавно был у зятя твоего Алоу, рассказывал, как они живут. Амра молодец, всегда такой была, видишь, и поженились они удачно. Ребенок уже! До какого дня ты дожил — правнука дождался! Чтобы и на свадьбе его еще погулял!
— Мне только бы не болели, больше и не надо ничего. Мы-то свое отгуляли, Джармхан. Вот они теперь, — Харзаман кивнул на меня. И тут же спросил: — Ну, а твои как дела, Алхас?
— Да ничего вроде, живу, стараюсь, — ответил я не очень весело.
— Не вешай носа! Ты на хорошем пути, дай бог тебе удачи! Хорошая у тебя дорога. Своя, собственная, никто еще из нашей деревни по ней не ходил. Это большое счастье, дад Алхас.
— Долгих дней тебе, Харзаман, как ты говоришь! — вступила с благодарностью бабушка.
— Всегда умеешь человеку помочь, такое слово скажешь, что ему сразу легче и жить дальше хочется!

— Ты уж слишком хвалишь, обычные слова у меня, буду сам счастлив, если кому-то они приятны...
— Нет, не обычные, золотые! А что в мире лучше может быть? Не дай господь нам никогда лишиться тебя, все будем плакать, всей деревней, Харзаман!
— Спасибо тебе, хоть и не стою такого, все равно спасибо! Скажу тебе: одни слова ничего не стоят. Если хвалю Алхаса, то за дело. А дело его само будет долго жить... Я хоть в этом немного понимаю, но скажу тебе: таким делом заняться — это навсегда оставить свой след, уже захочешь — не сотрешь его, так про мастеров раньше говорили.
— Верно, верно, Харзаман... Но что же сейчас житья ему не дают! — вспыхнула, не выдержала вдруг бабушка. — Если так и дальше пойдет, значит, никогда уже у нас в доме покоя не будет! Разве силой можно! Что он, вор или грабитель какой?..
— Ну ладно, бабушка, не надо про это!..
— Не ладно!..
— Ты помолчи, дад Алхас. Бабушка имеет право говорить, потому что у нее сердце болит за всех за вас... Говори, Джармхан, мы свои люди, сумеем тебя понять.
— Да что говорить! Боюсь я за него. Хоть и правда, ты говоришь, дело его хорошее, я сама сперва так рада была, а вот теперь, Харзаман, теперь... — От волнения у нее перехватило дыхание.
— Бабушка, ну что ты! Не думай совсем про это, как будто других забот нет, кроме меня!
— Эх, Алхас, ты еще мало знаешь, а мы с бабушкой жизнь прожили. Если за что-то она боится, значит, недаром. Чего только на свете не случается!..
— Да, Харзаман, да...
Но тут мы услышали, что еще кто-то пришел, и неприятный для меня разговор оборвался. Через минуту к нам вошел отец вместе с Баталом Карба.
Снова начались приветствия, вопросы о здоровье, и я было успокоился, решив, что про меня больше не вспомнят. Но едва успели сказать по нескольку фраз, как Харзаман опять начал, словно только и ждал прихода отца с Баталом:
— Вот такие дела у нас. Не то, что беда какая, не хочу пугать. Но и глаза закрывать тоже нельзя. С огнем шутить нельзя, от маленькой искры большой пожар бывает. Уже один случай был, не сумели люди простить друг другу. Теперь что же, ждать, пока еще что-то случится? Нет, не можем мы так, если кому-то наплевать, пусть на их совести, но мы-то должны вмешаться, так, Батал?
— Верно, верно, — тут же закивал Батал, — я с Харзаманом согласен.
— А что случилось, все уже знают, — продолжал Харзаман, — не будем ворошить, и до глухих дошло. Но надо дело исправлять. Надо помирить две семьи, пока худшим не кончилось. Хватит уже, навраждовались! Сперва надо Алхаса с Михой свести. Они ребята молодые, им-то делить нечего, послушают стариков, помирятся. Иначе и быть не может. И Цару пусть вернется домой. Я думаю, пока ее не было, много дел набралось. Вот этим и надо заниматься, а не выдумывать на свою же голову напасти. Тут ведь только начни — не остановишься, до чего хочешь можно дойти.
— Правильно говоришь, Харзаман, — снова поддержал его Батал. — Я тоже так считаю, если в наше время ссору начать, она настоящей враждой скоро станет. А пока не стала, надо все прекратить. Затоптать очаг, откуда весь пожар пошел.
— Что ж, ваша правда, — немного помолчав, ответила бабушка, — Так, видимо, и надо. Раз уж вы сказали, такие люди, что и у птицы перелом заметят и завязать правильно могут... Грех мне против говорить, согласна, о мире надо думать прежде всего...
Отец молчал все это время. Вроде хотел сказать своим молчанием: хватит и того, что мать говорит, я же не могу ей перечить. Но тут было такое дело, что требовалось и его прямое слово. Все-таки смолчал — это одно дело, а сказал, при людях, при стариках, — совсем другое. Уже тогда не отопрешься, не объявишь задним числом, что вот, дескать, тогда я не знал, а теперь так решил. Поэтому, чтобы считать дело совсем решенным, Харзаман и спросил отца:

— Ну а ты, Бадз, как ты на это смотришь?
— Как я смотрю... Как мне смотреть?.. Что ж, решили, пусть так и будет. Пусть... Помиримся с ней, постараюсь...
— Кто против вас скажет! — обратилась бабушка к обоим старикам. — Дай вам бог здоровья! Надо самим свои грехи искупать.
— Так-то, дад, так! — подтвердил напоследок Харзаман.

Ну, а дальше пришла новая беда.
Пока худшего не увидишь, добра не поймешь, — так говорят у нас. И верно. Каждый раз оборачиваюсь назад и думаю, жил бы так, как жил, вроде рядом с новым несчастьем старые уж не такими страшными кажутся.
Мой балкон со временем стал мне тесен, неудобен, как-никак он все же был предназначен совсем для другого. Конечно, открывавшийся оттуда вид был прекрасен, но одного этого уже было мне недостаточно. И я решил построить себе мастерскую. Специальное, просторное помещение, где можно было бы развернуться, писать сразу несколько картин, ведь, бывает, так даже лучше — от одной устанешь, с двойной силой тянет на другую.
Решил я и, не откладывая в долгий ящик, начал строить. Позвал во двор соседских ребят, они мне кой-чем помогали: подержать, распилить, принести...
Но не довел дела и до половины, как откуда ни возьмись явился наш председатель Абас. Видно, кто-то сразу же поспешил ему сообщить.
Явился с таким видом, как будто все время следил за мной, а теперь вот, наконец, поймал с поличным.
— Что я вижу, товарищ! Решил прибавить к своему княжеству? Того, где предки жили, мало показалось! Да? И ничего не спросил, не сказал никому... Или земля уже не колхозная, не общая стала?..
— Добро пожаловать, Абас, — первым делом поздоровался я, стараясь держать себя в руках, не отвечать грубостью на его слова. — Проходи, я рад тебя видеть...
— А я не рад! — он даже не заметил моего приветствия, как будто не хотел совсем признавать за человека. — Не так встречаешь, чтобы я был рад.
— В чем дело, Абас? Что случилось?
— Ты еще спрашиваешь? Ты сам? Глупеньким хочешь притвориться или нас за дураков считаешь?
— Нет, Абас, я так не могу говорить. Скажи толком, что тебе не нравится?
— Кто тебе дал право? Кто тебе позволил? Вот я что хочу сказать! — Голос Абаса перешел на крик.
— Какое право? Я не пойму...
— Прекрасно понимаешь! Не прикидывайся! Кто тебе позволил строить этот дом?
— Это не дом, это мастерская.
— Не дом! Смотри, не дом, а размахнулся будь здоров!..
— Я не выдумываю, честно тебе говорю, Абас, это мастерская, она нужна мне для работы...
— Что бы это ни было, это уже строение. Ясно? А чтобы возводить строение, надо иметь на это право. Тебе кто-нибудь давал его?
— Какое право, Абас! Строю себе мастерскую, ты прекрасно знаешь, для чего она мне нужна, что она, мешает кому-то, тебе или колхозу?
— Мешает! Всем мешает! Потому что ты строишь незаконно! Понял? Незаконно! И ты это прекрасно знаешь, значит, умышленно нарушаешь закон. Идешь против государства!..
— Это все ложь! Государство запрещает строить на берегу моря, запрещает тем, кто делает это ради наживы, а здесь не берег, и я строю не для дачников, значит, можно, никакого закона на это нет!..
— А про территорию в три километра ты знаешь, а? Про это не припомнишь закон, если ты так хорошо разбираешься?

— Это нас не касается.
— Не касается? А по-моему, очень даже касается. Ты на этой территории как раз и живешь!
— Кто, ты, что ли, мерил? С линейкой ходил?
— Мерили, не беспокойся, Алхас. Колхозная земля вся измерена, знаем, где у какого двора начало, где конец. И твой двор точь-в-точь в эти три километра входит. Так что не спорь. Сам построил, сам и разбери, чтобы еще худшего не было, мой тебе совет. Вот так-то.
С этим и ушел Абас, видимо довольный своей новой победой, довольный тем, что устроил мне новую неприятность.

30

Да, Харзаман не на шутку прихватил Абаса. Не простил ему Михи. И Абас ходил теперь злой, ни на кого не смотрел: как это так, ему, самому председателю, у кого и повыше немало знакомых было, вдруг объявили выговор! Надулся, как маленький хурджун, когда наберут в него через край, вот-вот, еще одна капля, — и лопнет!
Ладно, пошло бы это сверху откуда-нибудь, а тут свой же колхозник, простой пастух, — вот это, пожалуй, было для самолюбивого Абаса всего обидней.
Мог он такое забыть? Никогда.
Но и бороться в открытую с Харзаманом, мстить ему тоже было вроде не с руки. Харзаман — старик, ему ничего уже не надо, и знают его все вокруг, почитают как родного отца, — попробуй тронь, сам опозоришься, возненавидит вся деревня от мала до велика.
Нет, с Харзаманом Абас враждовать не решался. Но на ком-то должен был выместить гнев, должен найти виноватого! И похоже, этим человеком опять выпадало стать мне. И Харзаман со временем получит свое, Абас не пощадит его, несмотря на возраст и уважение, отыграется, если не на самом старике, так на родственниках. Но покуда, в первую очередь, подставлять голову должен был я.
И от угроз Абас перешел к делу. Через пару дней утром в наш двор въехал трактор и двинулся прямо к моей постройке.
Не буду даже пересказывать, что я тогда почувствовал. Любой человек, вбивший в жизни хоть один гвоздь, поймет меня. Но скажу только одно: если Абас рассчитывал вместе с мастерской поломать и меня, то у него ничего не получилось. Я вовсе не собирался складывать оружие. Просто у меня, как я теперь понимал, оно было совсем другого рода. Абас и подобные ему люди могли разить скоро и ощутимо, но вся беда в том, что их оружие отчасти было и не их, ведь оно принадлежало месту, которое занимал человек. Пока он в силе, пока сидит высоко — да, все его боятся, уважают, но неизвестно, каков он окажется потом, сам по себе, если вдруг потеряет свое положение.
А мне судьба дала другую возможность. То, чем я владею, зависит только от меня и больше ни от кого. Пусть мой талант самый маленький, но зато его уже нельзя отнять, он всегда со мной. Он говорит на всех языках мира, и если люди пожелают слушать, то уже никакой Абас не сможет заткнуть мне рот.
И вот я отважно схватился за кисть и начал рисовать. Абас как живой стоял передо мной, я мысленно поворачивал его то так, то эдак, стараясь получше рассмотреть, не пропустить ни одной детали. По лицу противника я ясно читал его душу, и все это легко переносилось на полотно. Руки слушались, бережно сохраняли каждую черточку, каждую нужную подробность Абасова лица.
Вот он уже нарисован, мысленный портрет стал явным, теперь можно успокоить воображение, пусть мой Абас потухнет, расплывется, это уже неважно, — отсюда, с холста, ему уже никуда не спрятаться, не соскользнуть. «Председатель сердится» — так решил я назвать свой новый опус.

Закончил, дал просохнуть и... спрятал подальше, решив, что теперь чист перед своей совестью, достаточно проявил мужества, отплатил обидчику. И почувствовал себя легче, уже не таким несчастным — что ж, каждый делает то, что может, жизнь впереди, еще посмотрим, чья возьмет!..
Но пришлось еще раз столкнуться с Абасом, чего я совсем не хотел. Пошел в Дом культуры, где мы должны были встретиться с Датой, там и застал как раз его, Бадру и Абаса.
Сразу, как зашел, понял, что разговор идет обо мне. Абас был злой, разгоряченный, ну точь-в-точь как на моей картине, не слушал Дату с Бадрой, словно был уверен, что кроме его мнения не может быть никакого другого.
— Нет, нет и нет! — трижды прокричал он, как будто вбил вокруг себя три кола, через которые уже никто не мог перешагнуть. — Пока я здесь председатель, не позволю никому! — Он взглянул на меня и, как будто не замечая, продолжал: — Никому! Своевольничать на колхозной земле! Есть закон, он для всех один и тот же!..
— Правильно, — согласился Дата. — Закон, один, и ты знаешь, когда нарушают, мы сами всегда с ними боремся...
— Вот и боритесь, а не нарушайте сами..,
— Ты и нарушаешь! — вступил Дата и, как бы испугавшись, что сказал слишком сильно, тут же постарался смягчить: — Может, невольно, потому что не разобрался...
— Тут разбираться нечего. Надо просто выполнять, что написано, а написано для всех, я уже сказал, никаких тут исключений быть не может.
— Нет, Абас, это все, общие слова. И дело не в исключении. Каждый закон надо еще правильно понимать. Его смысл не в том, чтобы все было по бумажке, а в том, чтобы была справедливость. Чтобы люди видели, что именно по закону, что карается зло, когда оно есть... А ты просто мстишь! И хочешь еще закон использовать для этого! Ведь мы-то понимаем, что дело здесь совсем в другом!..
— Что значит — в другом! — Абас стоял на своем и не хотел даже отвечать на сказанное Бадрой, словно это не к нему относилось. — Я защищаю закон, и все! Если надо, буду бороться за него. Насмерть буду бороться!
— Ничего, смерти твоей никому не надо, не бойся за закон, он сам за себя постоит. А вот кто не так с ним обращается, тому, правда, может плохо прийтись...
— Ты что, еще пугать меня хочешь?!
— Не пугаю. Предупреждаю.
— Я знаю, куда вы гнете! Хотите дружка своего выгородить! На меня все свалить, чтобы он чистым оказался. Не получится. Не надейтесь! У нас каждый получает по заслугам.
Тут уже я не выдержал:
— Интересно, а что такого я сделал? По каким еще заслугам?
— Я тебе уже сказал, могу еще раз повторить. Ты собрался строить дом, никого не спросив. Этого тебе мало?
— Какой дом? Откуда бы я его взял! Даже говорить смешно! Я хотел мастерскую. Мастерскую, чтобы работать!
— Дело не в названии. Раз сказано — нельзя, значит, нельзя! Один начнет, за ним уже другой попросит, и опять пошло... Надо эту заразу душить в самом начале.
— Где же начало! То, что ты заразой называешь, так она уже давно пришла, куда дальше, уже ногу негде на берегу поставить, все застроили. Ты от меня сейчас землю собрался беречь, а надо было тогда это делать, раньше, тогда где ты был?
— Тогда — это не мое дело.
— Не твое?! А по-моему, если разобраться, то и твое тоже будет, быстро ты в кусты убегаешь!..
— Это не при мне было.
— Что значит — не при тебе? Все при нас, все живем в одно время. Или твое только то, где ты голова, а остальные пешки? Но я что-то такого времени не вижу.

— Я не то хотел сказать, — смутился слегка Абас. — Когда земли разбазаривали, у нас же другой председатель был, другой, вот пусть он и отвечает.
— Но ты-то агрономом тогда уже был. Вроде тоже, значит, не совсем в стороне.
— Ты что, еще обвинять меня собираешься? А? Или других людей на это нет, которые получше знают, кто чем занимается и кому за что отвечать? Еще не так низко скатились, чтобы таким, как ты наши дела разбирать... — В его голосе послышалось уже явное презрение. — Ишь, указчик! Откуда только взялся?
— Ты прав, Абас, не мне тебе указывать, и ничего указывать не собираюсь. Просто говорю то, что знаю. На большее прав у меня нет. Я вообще тут маленький человек, и ты, Абас, прекрасно знаешь. Поэтому и решил перейти забор где пониже, да?
— Я еще раз говорю, — не унимаясь, твердил свое Абас, — я охраняю закон, для этого и поставлен здесь...
— Ты его нарушил, Абас.
— Я нарушил? Вы слышите, что он говорит! — Абас повернулся к Дате с Бадрой, точно призывая их в судьи. — Я нарушил закон!
Но Дата и Бадра теперь молчали, не знаю отчего, то ли считали, что все уже выговорили, то ли опасались чересчур обострять отношения с председателем.
Но я ответил Абасу:
— Да, Абас, именно ты.
— Как же? — перебил он меня.
— А вот так. Ты не имел права сделать то, что сделал. Не имел. Ты сделал это из вражды ко мне, поступил несправедливо, жестоко, ты знал прекрасно, что никакого закона я не нарушал...
— А дом, дом?! — закричал Абас. — Или мы уже забыли, о чем говорили!
— Не дом, а мастерская.
— Все равно строительство. Строишь. А назвать как угодно можно. Мне еще разбираться, мастерская это или не мастерская, не до этого, не до твоих картин, и так с ними горя уже нахлебались. Ты думаешь, они кому-то нужны? Не нужны они никому, они только мешают!..
— Кому же они мешают? Кому?
— Мне мешают, всем, всей деревне! Колхоз — это колхоз, а не картинная галерея. У меня планы: табак, кукуруза, животноводство. Вот что спрашивают, понял? Как ты думаешь, мне простят, если я завалю? А зато скажу: вот у нас вместо этого художник появился! Нет, уважаемый товарищ Алхас, никто мне не простит. Нам не мастерские нужны, а еда, питье, твоими картинами досыта никого не накормишь, и заниматься ими колхоз не будет. Не будет, понял?
— Не переворачивай все наизнанку, Абас. Никто не говорит, что пить и есть не нужно. Никто не говорит, что вместо колхозов мастерские открывать надо. И это нужно и то. Я сам в колхозе работаю, ты же прекрасно знаешь. Рисую, когда свободен. Не вижу тут никакого убытка ни людям, ни колхозу.
— Не видишь? А все, что было? Все, что ты заварил? Еще не хватает теперь, чтобы в самом центре села эту мастерскую поставить, осиное гнездо... Да ладно, что я тебе объясняю! Тут закон, закон, хочешь — жалуйся, я и спорить больше не буду.
— Эх, Абас, хочешь дорожку себе облегчить! Посмотрим, что у тебя получится...
— Посмотрим, посмотрим.
Он сказал это таким тоном, словно давал понять: разговор окончен. Мне тоже больше нечего было добавить. Дата с Бадрой так и не проронили ни слова. С полминуты прошло в неловком молчании, я повернулся и, ни с кем лаже не попрощавшись, пошел прочь.
Настроение после этой встречи сделалось у меня такое, что хуже некуда. Я знал, Абас не прав, но все равно его слова гвоздем засели в душу. Засели и мучали, как любое зло, пусть даже оно исходит от неблизкого тебе человека...

31

Снова я взялся за картину, которую никак не мог закончить.
Все это время она была задвинута другими на моем тесном балкончике, но если я не возвращался к ней, то совсем не потому, что забыл или она мне наскучила. Нет, я думал о ней, думал все время, душа моя не была спокойна, но жизнь буквально разрывала меня, тянула в разные стороны, а в таком состоянии, мне казалось, работать над ней нельзя. Все ждал удобного момента, когда буду спокоен и свободен от всего остального, ждал, ждал, но момент этот не приходил, только время утекало, как песок сквозь пальцы.
И вот я понял, что ждать больше нельзя. Хватит! Надо приниматься за работу.
Я достал начатое полотно и поставил его перед собой. Смотрю на то, что уже успел сделать. Словно окутанная дымкой, стоит передо мной моя мать, кажется, вот-вот скинет затемняющий лицо покров и выйдет сюда, к свету, оживет всеми своими чертами... Но не выходит пока, так и стоит в полумраке; не могу приблизить ее, не вижу с той ясностью, что способна оживить портрет.
Самое главное в облике человека — глаза. Они одни могут сказать столько, сколько не скажет все
остальное. Можно спрятать какую-то черту, можно изменить взгляд, но что-то за ним обязательно будет.
А глаза моей матери выражали всю ее; кажется, только сумей раскрыть их, и оживет она, станет как прежде, любой по этим неповторимым глазам сможет узнать ее.
И я должен был раскрыть их!
Но как это сделать? Самый большой страх охватил меня, когда подошел я к глазам. Надисую я их... А что, если не смогу? Если вместо живых, говорящих получатся просто блестящие стекляшки, как поправить тогда, как подступиться? Ведь для меня это не просто рисунок. Это моя мать. И все, что не так, мне кажется, ей делает больно; боюсь, как будто не кисть в моих руках, а острый скальпель.
Я решил передать то выражение, которое у нее было перед самой смертью. Я помнил его. Такой мать и осталась для меня, пусть останется и для других тоже.
И вот взялся за работу.
Отец обычно редко подходил ко мне, когда я работал, но тут, то ли случайно, то ли нет, пришел, не говоря ни слова, остановился у меня за спиной. И я не подал виду, продолжал так же сосредоточенно работать. Присутствие отца заставило меня стараться еще сильнее, он-то лучше других мог заметить любую фальшь, все-таки знал мать, как никто из нас. В другое время равнодушный к моим художествам, сейчас стоял он не шевелясь, точно боялся неосторожным движением помешать работе, спугнуть проступающее под моей кистью изображение.
Ну и хорошо, раз он здесь. Я чувствую, он заодно со мной, он мне ничуть не мешает, наоборот, как-то легче, спокойней под его защитой, не вижу его лица, но кажется, как и мое, оно застыло сейчас в тревожном ожидании.
А солнце уже опускается к горам, и свет его как бы переходит в глаза, глядящие на нас с портрета.. Как будто мы уже не одни; не чувство горечи, а другое, обнадеживающее, захватывает мое сердце...
И правда, мне стало казаться, глаза начали оживать, как будто не один я делал это, и мать сам; мне помогала. Пусть это нелепица, но мне казалось в тот момент, она рада встрече с нами и вот — старается помочь, сама водит моей рукой. От одного глаза перехожу к другому, еще чуть-чуть, последняя точка — они ожили! Рука моя дрожит, не верится самому, что закончил, но закончил, закончил, да, получилось именно так, как хотел.
Теперь уже нечего мне добавить, стою и смотрю на лицо передо мной. Пусть отдохнут эти глаза пусть успокоятся, я еще чувствую напряжение того перехода — из небытия в новый мир, пусть привыкнут теперь к нему, приглядятся, устав от бесконечной темноты вокруг.
Вот ты и отдал ей долг, Алхас, точно так же, наверное, она смотрела на тебя, когда ты

родился, она была счастлива твоему появлению на свет, а теперь ты привел ее сюда — вот она, перед тобой! — твоя мать вернулась в свой дом.
Но глаза ее полны заботы: она смотрит на отца, смотрит на меня, как мы живем, как без нее? Почему у нас такие лица? Чему мы не рады? Что с твоей семьей, Бадз? Да, такой она была всегда. Я только сделал ее похожей, а она сама уже заботится о нас, мы дороги ей и за чертой жизни. А значит, черты этой нет. Это значит, она все равно здесь, с нами.
— Глаза твоей матери! — первым тихо сказал отец.
— Да, похожи?
— Точь-в-точь. Вот такими они и были. Точно такими.
— Мамины глаза...
— Ты оживил ее, Алхас. Ты это сделал!
Отец проговорил таким голосом, что я с удивлением посмотрел на него. Он, видно, был слишком взволнован, застыдился меня и, не говоря больше ни слова, вошел в дом.
Я снова посмотрел на портрет. Мне показалось, мать говорит мне: «Мне жалко отца. Смотри, как он одинок! У него семья, но все равно, он и в ней один. Потому что нет рядом с ним человека, который понимал бы его, мог поддержать. Только его мать. Но она уже стара, больная, ей самой нужна помощь. Он не подает виду, но я-то знаю, внутри у него пустота. Тяжело ему. А ты приехал вовремя. Ты, Алхас, должен жалеть его. Не бросай отца, будь рядом с ним, помогай! Ведь ему тяжелей, чем мне. Прошу тебя, Алхас, прошу: не забывай, что я сказала».
«Хорошо, мама, хорошо, я не брошу его, не уеду никуда!»
«Вот так, сынок. Я тебе верю. Держись. Не бойся ничего. Ведь я всегда с тобой. Всегда».
«Хорошо, мама, хорошо...»
Я отвел глаза... Солнце уже было совсем низко — вот-вот зайдет. Вдалеке я увидел фигурку отца. Он шел в сторону кладбища. Первый раз я увидел, как он идет туда. У абхазцев не принято, чтобы отец ходил на могилу жены, когда видят дети, но тут, наверное, забыл про все, не выдержал, слишком сильное чувство разбудила моя картина в нем.
Но главное, я чувствовал, что исполнил теперь свой долг. Как будто до сегодняшнего дня был виноватым, но вот сегодня простилось все, сама мать простила мне в ту минуту, когда я вернул свет ее глазам.
Я вспомнил про бабушку. Надо и ей успеть показать, пока светло. Схватил мольберт, осторожно, чтобы не коснуться ничего свежей краской, понес в ее комнату.
— Посмотри, бабушка!
— Что такое, Алхас?
— Мама, моя мама! Ты видишь, бабушка?
Я поставил портрет пред кроватью, бабушка оперлась на руку, привстала, забыв про свою болезнь.
— Тытыш! Тытыш! Как живая!
— Вот, я закончил, бабушка, только что закончил!
— Тытыш! Пришла к нам опять, Тытыш! — Бабушка говорила не со мной, а с портретом.
— Алхас привел свою мать домой! — Ей хотелось, чтобы об этом узнали все. — Тытыш пришла, какое счастье у нас, посмотрите! Она, она, как две капли воды!..
Когда картина высохла, я вставил ее в раму и повесил у себя в комнате. Это место определила ей бабушка. Теперь сидел ли я, лежал — мама, не отводя глаз, смотрела за мной. Совсем другой сделалась моя комната. До сих пор казалась она мне холодной, неуютной, теперь вроде сама повеселела, ожила, и было мне здесь совсем не одиноко. Раньше я приходил сюда как гость — лишь бы переспать и уйти, теперь же стало хотеться побыть здесь подольше, не уходить, а если я был где-то, вдруг неожиданно начинало тянуть домой, в мою комнату, к портрету... Так чувствовал себя, как сирота, нашедший после долгих лет своих родителей...
Тут и еще одно приятное событие случилось. Через несколько дней после того, как я

закончил портрет, пришел ко мне секретарь райкома. Один, без наших командиров. Был уже конец дня, я услышал, как кто-то крикнул у наших ворот:
— Дома хозяева?
Бгазлоу тут же ответила за всех — глухо зарычала. Я сбежал вниз, прикрикнул на нее, ответил:
— Дома, дома, заходите, — и сам пошел навстречу.
— Если можно...
Тут я узнал его. Поздоровались, вместе вошли в дом. Вел гость себя просто, не то что Абас, как будто пришел проведать по соседству, пришел в гости человек к человеку. Первым делом спросил про бабушку, как она себя чувствует, о болезни ее он уже откуда-то знал. Зашли сначала к ней.
Бабушка, конечно, обрадовалась. Ей было вдвойне приятно. Она ведь знала Темыра Алана давно, они были родом из одного места. Знала она хорошо его семью и раньше, когда ходила к своим и туда приносила гостинцы, видела еще юношей теперешнего секретаря. И вот он пришел, навестил ее, как не обрадоваться! Начал расспрашивать, что да как, про врачей, спросил, не надо ли чего достать, може нет нужных лекарств... Но бабушка сказала, что лечат ее отлично, похвалила Аду, и гость успокоился, пожелал ей скорей подняться на ноги.
Потом мы пошли ко мне, на мой балкон, он захотел посмотреть, чем я занимаюсь.
Гость разглядывал мои произведения. Смотрел внимательно, ни о чем не спрашивал меня, одну за другой брал картины и ставил на место. И по лицу я видел, что ему действительно интересно. От этого приятный холодок щекотал меня изнутри. Взгляд у него был совсем не такой, как у дилетанта. Хоть по роду своих занятий и не имел ничего общего с искусством, но, значит, понимал что-то, чувствовал по-своему, не будет человек долго возиться с вещью, от которой никакого проку ему нет.
Он молчал, но это молчание было для меня лучше всяких речей. И без слов можно говорить! Можно одним взглядом, жестом передать такое, на что не способны самые значимые слова. Ведь речь — это только один из языков, есть и другие. Живопись тоже молчит, но вот же смотрит человек на картины, и они что-то говорят ему на своем, особом языке. Говорят точно так же, как мне его лицо. Поэтому похвала гостя не была для меня неожиданной. Я уже чувствовал, что нравится ему, не мог скрыть от себя эту радостную новость.
Темыр Алан поставил последнее полотно и обернулся ко мне.
— Ты рисуешь то, что в жизни. Это хорошо. Знаешь, видел своими глазами. Вот так и рисуй. Ты на верной дороге. Это я тебе могу точно сказать. Насчет остального — не знаю, я не специалист, пусть понимающие скажут, когда их об этом попросят. — Он с добротой взглянул мне в глаза. — Но мне лично нравится, если для тебя что-то значит мое мнение, то вот, оно такое...
— Правда?
— Правда. Так я понимаю. — Он еще раз посмотрел мне в лицо. — И если что-то надо будет от меня, скажи, я всегда помогу.
— Да нет, спасибо, ничего. Мне просто очень приятно, в самом деле. И ваше мнение, не думайте, оно очень для меня важно.
Потом мы еще с ним говорили — обо мне, о моей работе. Он советовал мне одно: побольше заниматься своим делом, рисовать, рисовать, говорил, что это нужно, этим можно много сделать. Правда нужна людям. И чем выше будет твое мастерство, тем вернее она найдет дорогу к чужим сердцам.
Он ничего определенного мне не обещал, но достаточно и этого, я уже сейчас чувствовал, как его визит помог мне, я стал крепче верить в себя, мне с новой силой захотелось работать — а ведь это в нашем ремесле главное, именно это, а не сопутствующий успех, скорое признание, они не дают дороги дальше, на внешнем ничего не построишь, только сам, то, что ты значишь, остается в конце концов.

Мне вдруг очень захотелось показать ему портрет матери. Но я боялся, интересно ли будет ему, кто она для него? Никто. Мне там говорит каждая черточка, а ему — просто портрет незнакомой женщины, взглянет мельком и забудет, и мне почему-то это казалось кощунственным. Но потом я подумал, что у него тоже ведь есть мать, он должен почувствовать то, что я хотел передать, дошло же до него все остальное.
И я решился. Провел его в свою комнату. Темыр Алан сразу понял, в чем дело, как только зашел, посмотрел на портрет, не отрывал взгляда от него несколько мгновений.
— Твоя мать. Да?
— Да, — ответил тихо я.
Тогда он снова повернулся к портрету. Смотрел долго на него, так и стояли мы рядом, без слов понимая друг друга, по взволнованному лицу гостя я видел, какое впечатление произвела на него моя картина.
— Глаза матери, — повторил он еще раз.
Потом мы сели, и я рассказал ему, как писал портрет. Как первый раз эта мысль пришла мне сразу же после ее смерти, как долго ждал потом, мучился, разузнавал... Он слушал внимательно, то и дело поглядывая на картину, и мне было легко делиться с этим почти незнакомым человеком.
Потом, когда я уже провожал его, хотел было рассказать и про другое, про недавнюю мою обиду, но почему-то не смог, язык не повернулся, так и распрощался с ним, ничего больше не добавив.
Вернулся к бабушке.
— О чем вы говорили, нан? — спросила она.
— Так, о разном...
— А про это, про твою мастерскую?
— Нет, про это нет...
— И правильно. Молодец. Если захочет, сам разузнает. А жаловаться нехорошо, некрасиво.
О посещении секретаря я не рассказывал никому. Пусть эта встреча будет между нами. Ведь люди могут наговорить что угодно, тем более когда я оказался в самом центре захлестнувших нашу деревню неурядиц.
Но оказалось, такое событие не так легко скрыть. Кто-то видел, кому-то сболтнул, и скоро знали все, что ко мне приходил секретарь. Конечно, дошло и до Абаса. Он при встрече надулся как индюк и презрительно бросил мне:
— Пошел уже ябедничать, да? Секретари уже лично к нему на дом приходят!..
Что я мог ответить? Только пожал плечами.

32

Абас сделался злым, подозрительным, с лица его не сходило выражение недоверия, с кем бы он ни общался. Все как будто ждал нового удара из-за спины. Когда ему возражали, огрызался, выходил из Ьебя, особенно нетерпим был к тем, кому раньше приходилось с ним сталкиваться, неважно даже из-за чего. Короче, только одно это и было теперь у него в голове — козни врагов. На меня же глядел как на личного своего противника, не мог спокойно переносить даже одного моего присутствия. Остальные дела словно и перестали его волновать, весь, с головой, ушел в интриги, большей частью им же самим и вымышленные.
Разладилось и у Михи с Харзаманом. После того как Миха вернулся, его как будто подменили. Раньше Харзаман не мог нахвалиться им, называл лучшим своим помощником, а теперь помощник этот и сам делать ничего не хотел и другим мешал. На все ему теперь наплевать, выходило, что другие должны были смотреть и за себя и за него. А это уже не работа. Говорят, одно гнилое яблоко сразу сто может испортить. Так и тут получилось. Пастухи были недовольны Михой, не хотели больше вместе с ним

работать, и как Харзаман ни старался примирить тех, кто был под его началом, ничего у него не получалось. Видно было уже: разбившийся кувшин не склеишь по кусочкам. Неурядицы среди пастухов тут же сказались и на стаде. Скотина то приходила голодная, то, наоборот, объедалась, падали и привесы, и надои, и качество молока. В общем, все было так, как бывает, когда в дружной когда-то семье появляется трещина раскола. Что мог сделать Харзаман? Не одному же скакать и там и здесь, подменяя собой всех! Он вынужден был просить помощи.

Абас же как будто только этого и ждал. Когда Харзаман обратился к нему, тот, не скрывая злорадства, ответил:

— А ты чего ждал? Или не знаешь, что так всегда и бывает, когда каждый сам начинает верховодить, плевать на тех, кто над ним стоит!..

— Что значит плевать, Абас? Никто ни на кого не плевал...

— Именно плевал!

— Подожди. Давай разберемся.

— Что разбираться! Мало разбирались разве? Вот, пожалуйста — и результат тебе! Все ясно!

— Подожди, ничего не ясно. А если ясно тебе, то и нам скажи, я же о деле говорю, как исправить, а ты опять хочешь счеты сводить!

— Нет уж! Говорить теперь ты будешь!

— Я? А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Я сам пришел тебя спросить...

— Нет! Теперь с тебя спросим!

— Абас, хватит! Что ты со мной играешь, как с мальчиком! Я к тебе за делом пришел, а не язык чесать!

— За делом? А что я тебе могу сказать такого, чего бы ты сам не знал? Какие здесь советы!

— Ты опять за свое!..

— Нет, просто я считаю, что ты лучше должен знать, что у вас там происходит. Ты же старший — ты отвечаешь, вот и все.

— Ну хорошо, так мы никогда не договоримся. Я хочу тебе сказать про Миху. Мне не нравится, как он себя ведет. Да, я сам заступался за него, он и был раньше у нас лучший пастух. Не хотел его терять... А теперь сам не знаю, что случилось, и говорил с ним, и уговаривал — ничего не хочет...

— А, так это тот самый Миха! Тот самый Миха, из-за которого мы всех подняли на ноги, без которого ты жить не мог! Миха! Наш замечательный Миха...

— Да, тот самый Миха. Именно он. И я тебе говорю, раньше не было пастуха лучше его! А что сейчас случилось...

— Уже случилось? Так быстро? Значит, выходит, всю кашу зря заварили? Но только я тебе скажу, Харзаман, мне ни до какого Михи нет дела. Я его не знаю и знать не хочу!..

— Что значит — дела нет? В нем-то все и дело. И я с тобой собираюсь о нем поговорить...

— А я не собираюсь! Для меня, повторяю тебе, никакого Михи нет. Для меня есть ты, Харзаман. Наш уважаемый Харзаман Ахба. Он старший, и за все отвечает он. А Миха для меня никто. Вот так-то, наш уважаемый Харзаман...

Это дважды повторенное «уважаемый» звучало в устах Абаса как издевка.

— Ну, так что ты тогда хочешь? За что я отвечаю, за то отвечу.

— Вот именно! — обрадованно подхватил Абас. — Ответишь! И никакого Миху сюда приплетать не надо. С него спрос маленький. И все, что там между вами происходит, это ваше личное дело. А за стадо спросим с тебя, только с тебя, Харзаман!

— Ну что ж, спрашивайте. Теперь я вижу, к чему ты клонишь, дад. Спрашивайте. Только опять тебе скажу, Абас, все-таки надо о деле сперва думать...

— Вот о деле-то я и думаю.

И Абас перенес этот вопрос на правление. Назначили что-то вроде комиссии, которая должна была разобраться с Харзаманом и его подручными, потом доложить обо всем.

Абас решил избавиться от Харзамана. Думал, что это сделать будет ему очень легко. Во-первых, убыток, что понес колхоз из-за распрей среди пастухов. А во-вторых, Абас собирался обратить внимание еще и на возраст Харзамана. Что, дескать, пора старику уже и на отдых, уже отработал свое. И если, надеялся Абас, не подействует один аргумент, найдут, что вина Харзамана явно недостаточна, то уж другой подействует обязательно. Ведь если человек на самом деле стар, никто не посмеет отрицать этого. Так рассчитывал Абас. Но вышло все совсем по-другому.
На собрании, как только Абас закончил говорить, за Харзамана вступился Батал.
— Значит, ты хочешь сказать, что во всем виноват один Харзаман? — набросился он на председателя. — Харзаман развалил работу? Тот, кто на этом месте в колхозе с того самого дня, как только колхоз наш появился? Да? Человек, чья честь и совесть всегда были выше и чище наших гор? А сейчас он вдруг стал плохим!..
— Мы говорим здесь не об этом. Не честь и совесть Харзамана обсуждаем, а его работу.
— Абас начал довольно уверенно, думал, нетрудно будет отбиться от Батала. — Честь — это личное его дело. У нас сейчас стоит вопрос об убытках, которые понес колхоз. Это ясно? И за всякий убыток должен кто-то отвечать. И поскольку Харзаман у нас старший над пастухами, отвечать должен он. Именно он!
— Подожди, Абас, не горячись. Все ответят. Но надо сначала разобраться хотя бы, кто в чем виноват...
— Это не мое дело. Я спрашиваю с того, кто отвечает. Отвечает Харзаман. Он. И никто другой.
— Это почему же так? Разве он один там работает? Есть еще и другие люди, все за себя отвечают...
— Других людей для меня нет. Я их вообще не знаю! — Видно было, что Абас постепенно выходил из себя.
— Да? Ты так считаешь? В таком случае, для нас и Харзамана нет. И обо всем будем спрашивать только с тебя!
— А я еще при чем?
— Как — при чем! Если уж говорить об ответственности, то ты здесь самый главный, выше уже никого нет!
— Это уже издевательство!
— Спокойно. Никакого издевательства нет. Я просто повторяю за тобой. Если никого не признавать, то остаешься только ты один, Абас. А остальные будут делать что хотят — дескать, нам наплевать, мы ни за что не отвечаем, другие ответят за нас...
— Да, прав он, — поддержал Бадра. — Нельзя на одну голову все валить.
И другие оказались на стороне Батала. Те, кому дело было важней личных распрей. Ведь понимали, нельзя так сразу, одним махом из-за единственной неудачи зачеркивать все доброе, что сделал человек за свою жизнь. Кто лучше Харзамана понимал в его деле? Никто. Поэтому решили разобраться, найти причины, а не рубить сплеча.
И разобрались. Порешили оставить Харзамана на его месте, а Михе дать другую работу, пусть там исправляется. Нашли вместо него нового парня, понадежней, этим дело и кончилось. И когда Абас заговорил о возрасте Харзамана, никто даже не стал слушать.
Абас сильно разозлился. Опять вышло не по его! Бледный, недобрый, сидел на своем председательском месте, даже слова не мог сказать.
Нет, не стихала вражда. Куда там! Раз уж дело перешло на принцип, тут разве успокоишься! У Абаса на лице было написано желание мести. Даже те, кто и не ссорился с ним никогда, теперь старались обходить его стороной.
Нам же снова пришлось столкнуться. Только увидел меня Абас на другой день после собрания, как сразу набросился:
— Ну что, небось доволен теперь? Хорошо? Не знаешь, куда от радости деваться?..
— С чего мне радоваться?
— Спрашиваешь, с чего? — начал он закипать. — Ты что, глупцом притворяешься или

меня за дурака считаешь?
— Да ничего я не притворяюсь. Что ты хочешь сказать, объясни.
— Объясни! Тут непонятливый сразу стал. Ты же на собрании говорил против меня? Говорил?
— Ну и что! Разве это неправда?
— Откуда тебе правду знать. Что ты, пасешь вместе с Харзаманом или на ферме работаешь? Что ты лезешь все время! Мало тебе прошлого, опять воду мутишь, опять хочешь показаться!..
— Ничего подобного. Я просто заступаюсь за то, что считаю правдой. А почему я должен молчать?
— Потому что без тебя разберемся, без тебя! Знаешь, как говорят: не лезь со своей ложкой в чужую кашу.
— Для меня не чужое это! И Харзаман не чужой. И ты мне рот не заткнешь, понял? Я буду говорить то, что думаю.
— Ты говори, только не здесь, там где-нибудь, со своими художниками, вот им интересно будет. Вы одним занимаетесь, мы другим, и твоего здесь ничего нет. А то, что ты приехал и влез со своими портретами, так мы и по сегодня еще не можем уладить. Услужил, спасибо!
— Я не пойму, почему эти картины застряли у тебя в голове! Уже обсудили их, решили все, сколько можно вспоминать! Мне кажется, ты на себя слишком много берешь. Хочешь, чтобы одну похвальбу тебе пели. Боишься, как бы, не дай бог, не прилипло пятнышко к тебе! Только тем, что глаза закрывать, никто еще ни одной болезни не вылечил!
— Ты что, еще лекции читать мне будешь?
— Да не лекции, просто говорю, послушай, и чужое мнение бывает полезно.
— Свое мнение ты оставь при себе. Не нужно оно нам, еще тебе говорю, не нужно. И без тебя мамалыгу ели, и без тебя не умрем!
Вот на этом наш разговор закончился.
И с Харзаманом у Абаса с того дня установились такие же отношения, как и со мной, если не хуже. Друг про друга слышать не могли. Харзаман, видимо, в душе обиделся страшно. Не часто ему приходилось слышать подобные обвинения. Сам-то я не видел его, так люди говорили.
А на другой день меня вызвали в райком. Вызывал сам секретарь.
В райкоме ждать не пришлось. Темыр Алан сразу же меня принял. И заговорил о том, на что я до этого времени и надеяться не смел. Даже не поверил сначала. Слишком неожиданной была для меня эта награда, я привык пока к одним неприятностям. Но как не поверить? Сам секретарь говорит, не шутит же он!.. Выставка!.. Мои картины хотят показать на выставке в нашей столице, в Сухуми! Неужели это я дождался такой удачи!..
— Вот так, — сказал напоследок секретарь, когда я сидел напротив с открытым ртом, — готовься как следует, подробности тебе сообщат.
— А вдруг... — замялся я, оробев от неожиданной радости, — вдруг это покажется... другим...
— Ничего. Покажется как надо. Только уж подготовься...
— Конечно, я понимаю, постараюсь..
— Все, вопрос решен. Теперь еще зайди к председателю исполкома, он здесь сейчас, ждет тебя.
Там мне выдали разрешение на строительство мастерской — все честь честью, за подписью и печатью.
Назад я уже летел как на крыльях. Издали мое Новолуние показалось мне в этот день прекрасным как никогда. Оно смотрело на меня необычайно нежно, открыто, точно благословляло. И горы, казалось, тоже следили за мной. И они были рады. И Аалыпста твердила о том же, несла впереди меня счастливую весть. Само солнце с радостью

обливало светом дорогу.
Я возвращался в родную деревню совсем другим человеком.
Тут, чтоб уж все были в сборе, появился на своей машине и Абас, с которым последнее время по воле случая мне приходилось сталкиваться чуть не каждый день. Остановился, высунул в окно голову:
— Ну, добился своего?
Даже он не мог разозлить меня сегодня.
— Ни на кого я не жаловался, Абас, клянусь тебе...
— Знаю. Уже звонили мне по телефону. Сообщили. Строй эту свою мастерскую, раз без нее жить не можешь. Строй, авось когда-нибудь будет конец, чтобы вы все провалились!..
Он нажал на газ и обдал меня пылью.
А дома ждала неприятность: бабушке сделалось хуже. Пришли Ада и Алдыз.
Ада сидела перед постелью, держала бабушку за руку, считала пульс. Мы все следили за ее лицом, боясь громко дышать.
— Ну что? — спросил первым я.
— Плохо, пульс неровный... Постараемся, сделаем что можем...
Ушли врачи только к вечеру, когда сердце стало работать чуть ровнее; отец, Адамыр и я остались в бабушкиной комнате. И тут, буквально через несколько минут после ухода Ады с Алдызом, явилась Цару. Ее привели женщины-соседки, все вместе они вошли в комнату. Никто не ожидал ее. Я думал, конечно, что рано или поздно она вернется, но не думал, что так скоро. Видно, сообщили, что бабушке плохо, и Цару посчитала себя обязанной прийти. Боялась, что может умереть без нее свекровь, на всю жизнь тогда осталось бы на ней лежать пятно позора.
— Как мать? — Цару сделала несколько шагов вперед, заглянула в лицо больной. — Что с ней? Спит? Плохо?
— Тише. Сейчас спит, а было очень плохо, — ответил отец.

33

Как только у меня появилось разрешение на мастерскую, тут же я решил и взяться за нее, тем более теперь место мне особенно было нужно. Нашлись и помощники. Больше всех помогал мой странный друг и соперник Дата. Ребята, мои приятели, приходили в свободное время... Так что в несколько дней все и закончили — постройка была несложная, обычный сарай, больше ничего...
Сразу же перетащил туда все нужное и принялся за работу.
Я уже давно собирался изобразить Харзамана. Уже думал об этом портрете, прикидывал его и так и эдак. Собственно, нарисовать, одного Харзамана было для меня не слишком сложно, я настолько хорошо запомнил его лицо, что оно стояло передо мной как живое. И не только лицо, и фигуру его, и осанку, знал, что хочу передать, и думаю, если бы нарисовал, не стыдно было бы выставить. Но хотелось еще чего-то, большего. Хотелось соединить его с тем окружением, среди которого привык видеть. Чтобы и деревня тут наша была, и горы, пастбища, по которым ходит Харзаман. Чтобы одно не закрывало другое, чтобы не новый этот сюжет сделался новым, неповторимым, таким, как и сам Харзаман в жизни.
И вот это была первая картина, за которую я принялся в своей новой мастерской.
Но, конечно, не только работал я целый день. Приходилось выбираться из дома за тем или другим, общаться с людьми, так что совсем оторваться от жизни не удавалось, да я и не хотел этого, чувствовал, как необъяснимым образом эта жизнь помогает мне в моей работе.
Но самым важным для меня событием за все время был разговор с Адой.
Как я ждал его, только об этом и думал! Долго не мог ничего сказать, при каждой встрече Ада убегала от меня, стоило лишь мне заикнуться. Было все время такое ощущение, как

будто она старается оттолкнуть меня обеими руками. И пошло это с того дня, как появилась в нашей деревне Натела. И раньше мы с ней не слишком-то ладили, но вот тут Ада сделалась совершенно чужой.
Я решил объясниться с ней во что бы то ни стало.
И при первой же встрече остановил ее, загородил дорогу и сказал, что не пущу, пока не выслушает меня. Такое решительное требование заставило ее покориться. Точно делая одолжение, приготовилась слушать.
Я заговорил. Мне было трудно, запинался, хотел убедить ее в том, что нет причин на меня сердиться. Я ведь и в мыслях не имел обманывать ее! Так получилось, что мог сделать! Совсем не хотел, чтобы Натела приезжала сюда. Долго говорил я, горячился, повторял одни и те же слова по два раза, думал, убедил ее... Но нет, Ада мне не верила. Или не хотела верить, не знаю...
— Нет, — сказала она в конце, — не надо меня больше убеждать. Так не бывает. Если она приезжала сюда, значит, приезжала для чего-то. И ты мне еще врешь...
— Да не вру я, Ада, не вру, поверь! Я не успокоюсь, пока не поверишь! Это сказал тебе кто-то, я вижу, сказали назло, чтобы сделать мне плохо!..
— А ты не делаешь плохо другим?
— Я?
— Да, именно ты.
— Я не понимаю тебя, Ада.,,
— А ты за глаза не чернишь других? Говоришь, тебе плохо делают, зачем же сам пошел ябедничать на брата, пошел к секретарю...
— Да это неправда! Никуда я не ходил! Кто это выдумал?!
— Никто не выдумал, все знают, все говорят!
— Ада!..
— Нет, Алхас. Ты даже тут не можешь сознаться. А еще хочешь, чтобы я тебе верила!
— Ну как мне оправдаться! Пойми, все не так, совсем не так!
— Я уже поняла. Не оправдывайся больше. Кто обманул один раз, обманет и другой. Там Натела, тут брат... Не надо мне ничего говорить, Алхас. Пусти меня, до свидания.
И все. Больше она не дала мне сказать ни слова, повернулась и убежала.
Вот так совсем недавняя радость обернулась для меня несчастьем. «Все говорят»! Ясно, что от самого Абаса это и пошло. А за ним повторили и другие... Все-таки сумел отомстить мне — не тем, так этим. Недаром говорят: языком, бывает, легче убить, чем оружием. Теперь и на глаза односельчанам показываться не хотелось. Не будешь же объяснять каждому, что да как! А слух пошел — кто его остановит!..
После того дня даже не хотелось выходить из мастерской — работал с утра до вечера, этим стараясь заглушить свою боль. Портрет Харзамана был уже наполовину готов, все детали обозначены, оставалось окончательно выписать их. Работа помогала мне, за ней я забывал неприятности, казалось, это помогает мне сам Харзаман. Но он даже не знал о том, что я его рисую. Знал бы, остался недоволен, а уж позировать и подавно никогда бы не согласился. Ведь наши старики и фотографироваться даже не любят, считают лишним это, хватит и своей жизни, чтоб еще оставаться среди людей и потом. А тут портрет! Сказал бы, зачем тебе это, дад, кто я такой, чтобы рисовать с меня картину, ничего особенного в жизни не сделал!..
Не успел я закончить портрет, как в мастерскую ко мне явились гости: секретарь райкома Темыр Алан и вместе с ним Абас.
Я одновременно и обрадовался и насторожился. Секретарю я был безусловно рад, но вот с Абасом мне встречаться совсем не хотелось. Наверняка опять какую-нибудь неприятность принес! Но нет, вроде совсем не то, даже лицо его как будто просветлело. Тут, рядом с секретарем, держался словно хороший мой приятель. Но это видеть мне было еще нестерпимей. Что же, когда один — позорит меня, не дает прохода, а теперь посмотрите — глядит на картины, еще что-то говорит, как будто и вправду стала так интересна моя

работа, которую при мне же проклинал последними словами. И глазом не моргнет! Суетится — ну точно наседка, что ищет только, где бы ей получше клюнуть, а дальше этого и знать не хочет!
И когда он еще, не глядя на меня, отпустил какую-то похвалу, я не выдержал:
— Что-то не узнаю тебя, Абас. С чего это ты хвалить начал? Только что опозорил на всю деревню, а теперь вроде ничего и не было...
— В чем дело? — сразу насторожился Темыр Алан.
— Я не знаю...
— Как не знаешь? Давай уж тогда, раз такой случай, все выясним. С чего ты взял, что я на тебя хожу жаловаться? Спроси, ходил я к кому-нибудь? Хоть раз? Ты унизил меня, Абас, в самом худшем обвинил — во лжи. Из-за тебя теперь людям в глаза не могу смотреть!
— Ничего я не унижал...
— А зачем ты слух такой пустил? Что, я у тебя за спиной с доносами бегаю?
— Я, что ль, говорю, люди...
— Ну-ка толком объясните, — вступил в разговор секретарь.
— Да ничего, кто-то сказал, что он к вам жаловаться ходит...
— Не кто-то, а ты сам! Ты! Ты первый об этом мне и сказал! А уж за тобой повторять стали.
— Неправда, Абас, никуда он не ходил. Мне ты веришь? Нехорошо, некрасиво это. Что ты вообще на парня накинулся, что он тебе сделал? Зачем мастерскую ломал?
— Я поступил по закону. И ничего у меня к нему нет. Просто, раз нарушил, я исправил...
— Нет, Абас, меня ты не обманывай. Никакого нарушения не было. Это ты сам придумал. И узнал я не от него, а от других людей. Хотя если бы он сам пришел, тоже большого греха бы не было. Но то, что ты делаешь, это никуда не годится. Надеюсь, больше у вас никаких недоразумений не будет.
Абас стоял как побитый, выслушал все молча, тут уж не решился спорить. А я почувствовал себя наконец победителем, понял, что теперь и меня он оставит в покое. Больше про это секретарь ничего не сказал, видно, решил, что достаточно. Заговорил теперь о выставке. Снова повторил, чтобы получше подобрал картины, похвалил, что увидел. Сказал, что верит в меня, надеется, все будет отлично.
Я и сам теперь в себя больше верил. Была уже определенная цель, а она всегда укрепляет человека. Если знаешь, для чего ты работаешь, вдвойне начинаешь стараться, и я старался, не жалея сил.
Выставка была уже не за горами, уже, глядя на свои картины, я представлял, как будут смотреть на них другие. Хотел, чтобы все дошло, сам старался найти слабые свои места и исправить.
А тут еще случилось вот что. Пришло письмо от Нателы, она писала, что выходит замуж. Я обрадовался этому вдвойне. Во-первых, за Нателу, что жизнь ее устроилась, что она счастлива, а во-вторых, и за себя тоже. Теперь я мог объясниться с Адой, теперь мне казалось, что в руках у меня неоспоримое доказательство: Натела выходит замуж за другого человека, за моего знакомого, тоже художника, Тараса Ампара, — значит, я уже ни при чем, ничего у меня с ней нет и не было! Теперь Ада должна мне поверить!
Я тут же решил пойти к ней. Весь тот день, как назло, меня не было дома, и письмо передали только вечером. Время уже было позднее, но я даже не подумал об этом, выскочил на улицу, побежал к ее дому и, только когда почти уже пришел, остановился, испугался. Как, что я ей скажу? Так ли это важно, в самом деле? И как позвать ее? А если выйдет не она, а Абас? Прогонит ко всем чертям, уж тут постарается!..
И все же неуверенно двинулся вперед. Ноги сами тащили в ту сторону. Подошел к самым воротам и снова остановился. В ее комнате было темно, значит, спит уже? Спит себе спокойно, и никакого дела ей нет до меня!
А может, нет еще? Где-нибудь в другом месте? Только бы увидеть ее сейчас! Только бы увидеть! Я бы теперь нашел, что сказать, мне в это верилось.

Но как? Вдруг выйдет случайно, я бы окликнул ее. Мне же надо ей сказать. Обязательно!
Тут я услышал шум машины и увидел фары в темноте. Я почему-то решил, что Абас уже дома, а это другой кто-то, мало ли кто, едет мимо... Но машина неожиданно свернула и пошла прямо на меня. Оказалось — Абас. Теперь уже прятаться было поздно, неловко — меня видели из кабины. Машина подъехала, остановилась, он вылез.
— Что тебе надо, Алхас?
— Ничего, так...
— Хотел сказать что-то?
— Хотел, то есть нет...
У меня чуть не сорвалось с языка: «Нателa вышла замуж», но ему-то что до этого!
Положение мое было донельзя глупым, я лихорадочно придумывал, что бы ответить.
Вдруг само пришло на ум:
— Бабушке хуже... Хотел Аду позвать...
— Бабушке?
— Да.
— Ады нет. Она в Сухуми. Если хочешь, могу до Алдыза подвезти.
— Нет, не надо, дойду сам.
— Ну, как хочешь.
Он смотрел на меня с явным недоверием. Я молча повернулся и пошел прочь.
Конечно, он все понял! Нетрудно было догадаться. Пришел за Адой, а сам стою у ворот, боюсь во двор войти! Его глаза так и говорили: «Из-за бабушки пришел! Ищи дураков! Убирайся, и чтобы больше я тебя тут не видел!»
И, пока я не отошел от их дома, чувствовал себя страшно неловко.
Но потом и это выскочило из головы. Думал только про Аду. Про то, что скажу теперь ей. Скорей бы, скорей, не терпелось ее увидеть. Если бы знал, где она в Сухуми, помчался прямо сейчас туда. Мне казалось, надо сделать все сейчас, немедленно, как будто за день или два что-то могло измениться!
Но по дороге чуть успокоился, пришел в себя. Понял, что все равно ничего теперь не сделать, придется ждать. Ночь, как ленивый буйвол, никуда не спешит, тянется себе еле-еле, и не потащишь ее на веревке! Что же делать! Никогда еще так не хотелось мне увидеть следующий день. Но придет же он, все равно придет! И Ада никуда не денется, не навечно же уехала в Сухуми — вернется. Только поскорее бы все это случилось, поскорее!..
Я подошел к нашим воротам. Бгазлоу, наверное, еще издали почуяла меня, подбежала, виляя хвостом. В доме было тихо — ни одного звука, все уже заснули.
Тут почему-то я остановился. Лег грудью на ворота, свесив руки во двор. Жалко было спать, не хотелось. Хотелось еще побыть с этим миром, со всем тем, что было у меня в душе. Бгазлоу, подбрасывая передние лапы, тихо поскуливала, вертелась, по ту сторону забора. Собака соскучилась по мне и хотела, чтобы я скорее вошел во двор. А я смотрел и какую-то особую нежность чувствовал сейчас к ней. Собака — это ведь тоже член семьи. Все она
понимает, беспокоится, когда кого-то в доме недостает, делится с вами своими чувствами, только надо внимательней присмотреться — и все поймешь. И сейчас — отбежит, чуть набок наклонит голову, смотрит, хочет угадать твои мысли, потом бросится вперед, заскулит, умоляет: ну заходи же скорей, и так уже был где-то долго и опять стоишь!
Но я не трогался с места. Меня вдруг охватило тихое, умиротворенное чувство, не хотелось шевелить его, казалось, только отойдешь — и оно пропадет. Я протянул собаке руку, она еще больше взволновалась, прыгала, прижималась к руке головой, когтила ворота.
— Бгазлоу! Ну что с тобой?
Она поднялась во весь рост, тянулась к лицу, но остерегалась лизаться, раз-другой проводила языком по воздуху, — знала, что не любят этого, даже ласкаясь, не забывала,

не то что другие собаки — готовы с ходу облобызать и знакомого и незнакомого. Я погладил ее еще раз по голове и решил, что пора идти. Что же, не стоять же здесь целую ночь, раз столько ждал, дождусь и завтрашнего дня.
Открыл ворота, оттолкнув чуть Бгазлоу, и вошел во двор. Тут она совсем обезумела от радости. Легла на спину, завозилась у моих ног, потом вскочила, пронеслась пулей вдоль забора, вернулась ко мне, зигзагами понеслась к дому, точно показывая мне место, куда я должен был идти спать, снова вернулась, ударилась в ноги, покрутилась, потом взбежала первая на лестницу, остановилась, поджидая меня. Я поднялся следом за ней, она еще чуть потерлась у ног, бесшумно пробежала по балкону и слетела вниз. Пару раз то с одного конца двора, то с другого раздавалось ее фырканье.
Я на цыпочках прошел в дом, осторожно стал пробираться к своей комнате. Думал, бабушка уже спит, но вдруг услышал ее голос:
— Вернулся, нан?
— Да, бабушка, — ответил тихо, чтобы не разбудить других.
— Ну спи, ложись, спокойной ночи.
Я зашел к себе, разделся и лег. Закрыл глаза и снова увидел перед собой Аду; о чем бы ни думал — все равно мысли возвращались к ней.
Между мной и бабушкой была тонкая перегородка, и все слышалось через нее. Скоро бабушка заснула, видно, успокоилась, когда я пришел. Тихо захрапела, сначала это мешало мне, но потом привык и тоже незаметно уснул...
На следующий день Ада не вернулась...
К вечеру я вдруг вспомнил про Дату. А где он? Почему его тоже не видно? От внезапно пришедшей в голову мысли сделалось нехорошо. А что, если он сейчас тоже в Сухуми, вместе с Адой? Разве не может такого быть? Покамест я был в стороне, он успел захватить ее сердце, а теперь они вместе, вдвоем, а я тут лезу со своими глупыми объяснениями!
Но если даже так, кто виноват? Только я. Она же не давала мне слова — свободный человек, выбрала того, у кого все хорошо, кто, подобно мне, не занимается только тем, что попадает из одного несчастья в другое.
И все же, с другой стороны, я почему-то не мог в это поверить. Я решил, надо найти Дату, немедленно, и поговорить с ним. Мы оба мужчины, поймем друг друга. Правда лучше этого унизительного выжидания, быть может, уже смешного со стороны.
Я пошел прямо к нему домой. Дома Даты не было, а где он, почему-то не решился спросить, хоть и был до этого такой храбрый. Опять ничего не решилось. Пошел назад окружной тропинкой, не хотелось идти через деревню.
Шел медленно, глядя себе под ноги — больше никуда, да и было уже темно, ничего не разберешь.
И вдруг вздрогнул отчего-то. Поднял глаза и увидел перед собой силуэты двоих. Кто это?
Я замер на месте. Смотрел на них и не мог оторвать глаз.
Забыл даже, что меня могут тоже заметить, и будет стыдно: двое спрятались нарочно, а я подглядываю за ними, как завистливый сосед за чужим двором сквозь щели забора.
Хочу пойти вперед, но не могу. Ноги сделались ватными.
Кто же это?
Неужели?..
Стал тихо подкрадываться, они стояли чуть в стороне от тропинки, у большого дерева, не замечали меня. Парень и девушка... Что я делаю! Иди спокойно мимо или поворачивай назад, кто бы ни были они, не оберешься позора! Но не могу! Всего сильней желание разгадать эту тайну, может, ужасную для меня.
Одного я уже знал. Это Дата. Он тихо говорит, но я вижу по фигуре, по манере размахивать руками... Теперь уже уйти я не мог. Должен был увидеть все своими глазами.
Неужели Ада? Она? А кому еще быть, вроде ни с кем больше Дата и не ходил...
Но я не верю! Не поверю, пока не узнаю наверняка.
Я продвинулся еще немного. Чуть сошел с тропинки, чтобы не заметили самого. Она

стояла, прислонившись к дереву, так что отсюда нельзя было рассмотреть. Говорил Дата, я уже различал слова, а она молчала. Если бы сказала хоть что-нибудь, я узнал бы по голосу, голос Ады я не мог спутать ни с каким другим! Но, видно, ей нравились его речи, слушала, не перебивая. Конечно, такое можно слушать до утра, когда человек, который еще и нравится, говорит о тебе самой, расписывает, как ты прекрасна! Я остановился затаив дыхание, хотел разобрать слова. И вдруг явно услышал:
— Наталья!..
Он сказал еще что-то и опять повторил ее имя.
Словно тяжелый груз упал с моих плеч. Так значит — не она! Не она! Это Наталка! Тут же память сработала, вспомнил, как Дата расписывал ее мне. Вот, оказывается, почему! Не мне сватал, она самому ему нравилась! От счастья я готов был подняться на небо. Теперь можно и уходить. Не надо им мешать, вернусь, пройду другой дорогой. Пусть разговаривают, пусть, всей душой желаю им добра.
Я шагнул к тропинке, но теперь от радости не посмотрел под ноги, наступил на какой-то сучок, затрещал им и выдал себя. Посмотрел тут же на них, Дата обернулся и тоже меня заметил:
— Кто там?
Теперь уже поздно было отступать. Я двинулся вперед, как будто и шел так до этого, просто нечаянно оступился.
— Кто это?
— Я.
— А, ты, Алхас?
Он подошел, видно и сам смутившись не меньше моего. Несколько мгновений мы молча глядели друг на друга.
— Домой идешь?
— Ага, домой... Ну, пока...
И я поспешил пройти мимо.

34

И вот наконец настал этот день — день открытия выставки.
Честно говоря, я уже так переволновался, что у меня зуб на зуб не попадал. Все-таки такое дело! Важней не было и, наверное, не будет в моей жизни.
...А событие между тем разворачивалось, люди подходили один за другим, уже я видел, как с любопытством поглядывали на картины, ожидая начала.
Не переставая волноваться, устроился поодаль и стал наблюдать исподтишка.
Среди всех картин выделялась одна — портрет моей матери. Она и висела чуть выше, поэтому казалось, что властвует над всем остальным, освещает своим присутствием.
И как я посмотрел на нее, тоже попал под этот свет, ободрился, уже не чувствовал себя одиноким. Снова захватило меня очарование этих глаз, даже на мгновенье забыл об окружающем — взгляд матери был сильнее. И с этой минуты он уже не покидал меня, переживал со мною вместе, ведь из того, чтс происходило со мной, ничто ему не было безразлично.
А публика между тем перемещалась по залу, люди менялись местами, переходили от одной картины к другой. Многие задерживались у портрета матери пожалуй, нигде больше не собиралось столько людей. Смотрели внимательно, с видимым сочувствием Конечно, чужим людям трудно было понять, что значила для меня мать, но все равно у каждого в душе просыпались какие-то чувства, пусть не такие, как у меня, свои; главное, что никто не оставался равнодушен.
Один зритель особенно поразил меня. Молодой парень, примерно мой ровесник, он долго стоял у портрета, не отрывая глаз, и мне почему-то сделалось неловко; хоть он меня все равно не видел, я отошел, словно не желая мешать ему...

У другой картины тоже собралась кучка зрителей, тут переговаривались, усмехались, кивая на портрет:
— Смотри, как живой!
— Точно, я его знаю!
— Молодец художник! Ловко заметил!
— Вы смеетесь, а человек попал в историю. Надо же, нарисовали!
— Значит, он такой и есть. Не придумал же художник! Увидел, нарисовал, себя вини теперь.
— Да, вот так попадешь... Я и не думал, что такие картины бывают...
Вдруг кто-то тронул меня сзади. Я обернулся: Киач! Всем известный Киач-коротыш! Он был взволнован донельзя. Что-то хотел сказать мне, но никак не мог найтись, смотрел на меня снизу своими широко раскрытыми глазами. И я не успел вымолвить слово, как его узнал еше кто-то из стоявших рядом:
— А, наш Киач! Поздравляем!
— Смотри, тоже на картину попал!
— Ну, теперь герой! Здороваться перестанет!
— Нет, молодец, Киач, молодец!
Он смутился еще сильнее, в словах говоривших чувствовалась и доля насмешки, Киач беспомощно поглядел на них, не выдержал, повернулся и быстро зашагал к выходу. Я даже не успел его остановить.
А напротив, на картине, стоял другой Киач, такой же низенький, добродушный, нельзя было без доброй улыбки посмотреть на него. Как муравей, старательно тянущий груз тяжелее себя, Киач тянул два здоровенных чемодана, да еще на плече болтался хурджун; видно было, что сила в этом человеке большая не по росту. Даже кажется, захочет — взмахнет этими чемоданами, как крыльями, и оторвется от земли.
Идет он себе — море ему по колено, а что еще надобно человеку? Совесть у него чиста, сердце доброе, разве этого мало? Может, кому-то и не нравится такая работа, да ему по душе, что вы можете возразить на это?
Идет он по набережной, не чужой, свой здесь человек, и волны легко плещутся внизу, подпевая ему, и Сухумская гора смотрит, сверху, — счастливый человек идет, простой, незамысловатый.
Я назвал картину «Киач», а можно было бы и так назвать — «Счастливый человек», тоже бы подходило.
Теперь я уже совсем опомнился. Перестал робеть, почувствовал даже что-то похожее на гордость за свои труды. А люди все менялись, одни уходили, на смену им подходили другие. Я медленно передвигался из одного конца в другой, подглядывал незаметно за лицами зрителей, сам рассматривал, словно чужой, свои картины.
Остановился у картины «Сельский врач». Тут снова легкая дрожь пробежала у меня по телу. Остановился, поднял глаза к лицу, что смотрело на меня с портрета. Даже не подумал, что неловко будет, если кто-то из наших увидит, забыл про все.
Мы словно остались вдвоем с этой девушкой в белом халате, глядящей перед собой весело и прямо. Никто из людей сейчас не был мне так дорог, как она. Если бы так мог я стоять не перед портретом, а перед ней самой! Но мне казалось, и здесь, в портрете, есть что-то от настоящей, живой, недаром я так старался, рисуя его. Тут сзади кто-то окликнул меня:
— Будьте любезны!
Я обернулся — в двух шагах стоял фотограф с нацеленным фотоаппаратом, щелкнула вспышка, потом еще и еще раз.
— Отлично! Благодарю вас. — И он удалился.
А на следующий день я открыл газету «Апсны Капш» и сразу же увидел свою фотографию на фоне портрета Ады. А под ней небольшая заметка, в которой говорилось о выставке, обо мне — «молодом сельском художнике».

Теперь я уже прославился, можно сказать, на всю нашу республику. Прочли, конечно, и в Новолунии. Стали приходить наши. Смотрели, поздравляли, с уважением жали руку.
Но той, кого я ждал больше всего, — ее не было. Неужели я зря надеялся? Но мне казалось почему-то, что она придет.
Сейчас, в эти важные для меня дни, ее особенно не хватало. Ада, Ада — только это и сидело в голове. Ее признание казалось мне дороже признания всего мира. Пусть тысяча друзей у меня будет, тысяча поклонников, без нее все равно чувствую себя одиноким. Хоть бы просто пришла, появилась, одним глазом взглянула, но и таким малым счастьем не хотела меня наградить.
Я каждый день дежурил на выставке, боялся пропустить ее. Если бы такое случилось, никогда не простил бы себе. Стоял, как привязанный, и, мучаясь, ждал.
А у ее портрета всегда собирался народ. Видно, не одному мне нравилась эта девушка в белом халате. Что ж, и за то спасибо! Но все-таки где она? Почему не приходит? Каждый раз: взгляну на портрет — и с новой силой тоска ударяет в грудь.
Больше всего людей приходило к вечеру, после работы. Приходили по одному, по двое, целыми группами. Медленно прохаживались, рассматривали картины, одних больше привлекало одно, других другое...
Раз пришли несколько девушек; по разговору я понял: студентки какого-то медицинского училища; походили, остановились возле портрета Ады, долго разглядывали ее с головы до ног. Видно, смотрели как на свое будущее, каждая пыталась представить себя на ее месте...
Я стоял тут же рядом, наблюдал за ними. И вдруг услышал шаги за спиной, знакомые, как мне показалось, шаги. Побоялся даже поверить сам себе, захватило дыхание: неужели она? Обернулся...
Там стояла Ада.
Я не мог ничего сказать в первое мгновение. Потом смущенно улыбнулся:
— Привет...
— Здравствуй, — ответила она.
Словно извиняясь, кивнул головой на портрет;
— Вот... я...
И больше не смог ничего добавить.
Она молча смотрела на свое изображение, и я, чувствуя ее рядом, смотрел туда же. Стояли, и как будто стена, бывшая до этого между нами, сейчас рушилась, распадалась...
Я взглянул на нее, и она повернулась ко мне. Наши глаза встретились и уже больше не расходились. Долго они охотились друг за другом, долго ждали этой минуты, и вот наконец она пришла! Словно так и было нам суждено, для того все и делалось.
И сейчас ее глаза были добрыми, как никогда, даже следа не осталось от прежней неприязни. И я старался ответить ей таким же взглядом, показать, что все понимаю, благодарен за ее приход и за это... вот это выражение, которое для меня дороже любой награды и похвалы.
Она молчала, но глаза ее как бы говорили со мной.
«Что это, Алхас? Ты нарисовал меня... Но не просто нарисовал, я вижу, тут не один портрет... Ты хотел этим сказать еще что-то?»
«Да, Ада, хотел! Очень много хотел сказать. Разве не видно?»
«Видно, Алхас, очень даже видно... Ты рисовал... значит, все время думал обо мне?»
«Только о тебе и думал. Вот нарисовал, не знаю, хорошо ли получилось, но только это ты. Ты видишь, что это ты?»
«Да, вижу, Алхас! Любой увидит!»
«Боишься? Боишься, что будут говорить?»
«Нет, Алхас, не боюсь. Только...»
«Что, Ада?»
«Я не ждала... Я думала... ты обижен на меня...»

«Я? Что ты!»
«Нет, знаю! Я была не права, сейчас вижу. Мне говорили так, Алхас, а я верила. Зря верила, не должна была...»
«Ну и ладно, забудь об этом, забудь! Сейчас уже неважно!»
«Да, Алхас, да!..»
Не знаю, такими ли были слова, но смысл был таков, за это готов поручиться. Минута прошла, и Ада опустила глаза. Мне показалось, после этой внезапной близости она почувствовала себя немного смущенной. Не глядя на меня, спросила уже своим обычным тоном, или, во всяком случае, стараясь представить его обычным:
— Ну что, теперь, наверно, уедешь от нас?
— Почему, Ада?
— Как же! Разве такого художника оставят в деревне!
— А что? Какого? Чем я не гожусь?
— Не то что не годишься, наоборот, возьмут выше!
— Куда это выше?
— Как куда — в город.
— А наше Новолуние разве низко лежит? По-моему, тоже высоко.
— Ну, то деревня, а то город! Город всегда выше, сейчас все это знают.
— Ну и пусть знают! Я никуда не хочу и никуда не уеду!
— Что ж, посмотрим».
Постояли немного молча друг против друга. Потом Ада сказала:
— Ну ладно, я пойду, Алхас, до свидания.
— До свидания.
Она взглянула последний раз на меня, повернулась и пошла к выходу. А я стоял на месте и глядел ей вслед.

Кроме портретов, так сказать, «положительных» — вроде портрета Харзамана, Батала и так далее — на выставке были и другие. Напоминавшие те, что я выставил когда-то в нашем Доме культуры. И около них всегда царило оживление. Я уже говорил, какой разговор слышал там в первый день. И в остальные дни люди собирались кучками, усмехались, качали головами, узнавая знакомых.
Больше всех повезло нашему Абасу. Не знаю, может, я и хватил через край, но когда рисовал, не мог остановиться, слишком он разозлил меня. Была картина «Председатель сердится», были и другие...
И вот однажды на выставку явился сам Абас. Я не видел, как он вошел, стоял в стороне, с кем-то разговаривал. Повернулся, смотрю: стоит Абас, и как раз напротив самого себя. А выражение на лице такое, словно о притолоку ударился головой. Видно, шел себе, ни о чем не подозревая, и вдруг набрел. Увидел, но что увидел!.. Да как это посмели! Его нарисовали, самого Абаса! Лицо его начало покрываться пятнами гнева. Точь-в-точь сделался похож на свой портрет, ну, как будто в зеркало смотрел! Обернулся оторопело, не меня ли ищет? Увидит — в щепки разнесет! Я поспешил спрятать глаза.
А он взглянул еще раз на портрет и ошалело двинулся дальше. Но и дальше было не веселей! Новая картина, называется «За здравие или за упокой?». Стоят длинные, покрытые брезентом ашапа * *(* Ашапа — специальные навесы от солнца.)*, под ними столы, уснащенные всяческими напитками и кушаньями, по бокам осоловелые люди. И во главе сборища стоит человек, одну руку вперед выкинул, в другой — чарка с расплескавшимся вином, и вещает что-то, а что — видно, и сам уже не поймет. Кто же этот оратор? Снова наш Абас. Тут тоже нельзя не узнать, к тому же так повелось у нас с тех пор, как стал он председателем, где что — свадьба ли, поминки, лишь бы стол был накрыт, — сразу его зовут, он всегда главный тамада.
Но и это не последняя была картина. Следующая — тоже с натуры. Тут Абаса нет, зато каждый из наших сразу узнал его. Здесь просто затрясся он от злобы. Наверное, и сам

раньше боялся — увидят люди, засмеют, да как не засмеять, ладно бы какой старик, выживший из ума такое придумал, а тут председатель колхоза, пример остальным! Но бабка заставила его, не смог устоять. Заставила она, но сделал-то он! Думали покойного деда почтить, а вышло — только семья опозорилась. У нас в деревне так тишком и говорили об этом.
Вот отчего Абас задрожал теперь. А на картине я изобразил могилу его деда, все как есть нарисовал, ничего не добавил: надгробье — монумент стоит настоящий, какие и царям не снились, дворец, сам бы жить в таком согласился, но этого мало еще: лицом к плите с золотыми буквами на маленьком столике — телевизор. Настоящий, не игрушка, — чтобы Абасову деду и на том свете не скучно было, мог, когда захочет, футбол или кино посмотреть...
Тут уже Абас не стерпел, повернулся и с невидящими ничего глазами пулей бросился вон. Мимо меня пролетел, не заметил.
Даже жалко стало мне его в тот момент, хоть и был он мой враг номер один. Но вспомнил, как он меня преследовал, как настраивал сестру, и решил: ничего, так ему и надо! Была бы его воля, он еще не то бы мне устроил! И потом, что я сделал, не придумал ничего, не отнял, его же оружие повернул против него. Пусть пеняет теперь на себя. На зеркало, как говорят, нечего обижаться.

35

Выставка была открыта целый месяц.
Многих людей я повидал тут за это время — и художников, и не художников. В первый же день к вечеру приехали мои друзья вместе с учителем Хутой. Прикатили на старой, дребезжащей, как консервная банка, машине одного из них, видно, не первый раз переходившей в наследство. Выскочили, поздравили меня, обошли все, осмотрели, а потом небогато, но весело отпраздновали событие в соседнем кафе. Была среди них и Натела. Радовалась моему успеху не меньше других...
Приходил Парна со своей неразлучной спутницей Галиной Беркер. Тоже поздравляли, желали удачи.
Пришел потом и Киач. Этот маленький человечек, которого редко и замечают, но с чем-то таким притягательным в себе, что, познакомившись, уже невозможно относиться к нему равнодушно. Сказал, что хочет посидеть где-нибудь вместе, и, пока я не поклялся, что приду вечером к гостинице, не отпускал меня.
Ну что ж, вечером я отправился на встречу с Киачем. Но тут произошла еще одна встреча. Со старым моим знакомым, директором совхоза, в котором я рисовал «Девушку с цветком», Кансоу Халбадом. Поздоровались, он откуда-то тоже знал про выставку, поздравил меня. Потом присели на скамейку. Вспомнили Парну, нашу с ним работу... Тут Кансоу вдруг тяжело вздохнул и нахмурился.
— Да, нарисовали-то вы, нарисовали... Только лучше бы вообще не рисовали...
— Почему?
— А, ну его к черту!
Он замолчал на минуту, но, видно, свежие переживания не давали ему покоя, рвались наружу.
— Все прахом пошло! Так-то, дад Алхас! Чтоб им пусто было! Нас выдернули ни с того ни с сего и пошли молоть. Тут уж закон: первые зерна на жернове — сразу в муку. Какое время, а? Жить нельзя стало! Рта не дали открыть!! Чуть не разбойником окрестили!
— Да в чем дело, Кансоу? Я ничего не пойму.
— В чем дело! Если бы я знал! Сам вот иду сейчас и думаю: за что? Три часа говорили, а толком так и не понял ничего. Понял одно, что вдруг плохим стал, а с чего, почему...
— Ну что-то говорили все же!
— Говорили! Вцепились, как шакалы, вот и говорили!.. Да что случилось?! Беда какая?

Разруха? Голод? Все же идет, и раньше так шло, вдруг раз — не подхожу!
— Как — не подходите?
— Вот так! Не подхожу! Освободили!
— Вас освободили?
— Кого же еще? Меня. Кто этот совхоз на ноги поставил, миллионером сделал! Меня! Да там каждая косточка, считай, мной в землю посажена!
— Даже не верится... Но так же не бывает — ни за что ни про что...
— Ну, прицепились к чему-то, это всегда найдут... Чай пропал на плантациях... А когда он не пропадал? Там пропадет, здесь вырастет! Это же земля, не фабрика! Опять чай этот налево продавали! Вором уже хотят назвать. Продавал! А куда шло? Все туда же, на совхоз, на гостей, их же самих, начальников, принимал!.. Словом, сверху, говорят, у тебя все блестит, а внутри сгнило. Потому что ты руководство развалил. Я развалил! Да это придумать такое!.. Просто бросили, как жертву, выбрали покрупнее...
— Как же вы теперь?
— Вот так вот... На голом месте остался...
— Совсем?
— Ну, совсем не оставят без работы. Подберут! Сказали, такое местечко, чтобы на нем сумел почувствовать всю глубину своей вины... Это, считай, что по миру пустили...
— Да, — я сокрушенно покачал головой.
— Вот тебе и да!.. Еще и тебя вспомнили, будь они, эти картины ваши, неладны!..
— Меня? А меня-то что?
— Вот именно — тебя! И это еще пришили. Вот, говорят, еле спасся художник, а то и он мог бы в твоих лапах жуликом стать! Хорошо, хоть времени не хватило!
— Да вы что! Кто это сказал?
— Нашлись люди, припомнили, раскопали.
— А что мы делали такого? Почему жулики?
— Деньги-то переводили тебе? Переводили.
— Разве задаром? Мы же рисовали! Что, плохо, что ли? И потом, не мне одному, это просто на мое имя...
— Вот-вот! Не тебе одному!.. Все тут сразу не так стало! И Дворцу культуры нашему, мол, эти росписи не нужны, и то и се, и платили незаконно. Надо было через Союз художников, а они бы уж вам потом... А так, говорят, все равно что воровство. Вот так-то. И насчет «не тебе одному» тоже нашлись добрые люди, раскусили, мне говорят, ты у него в доле был!
— Не может быть!
— Так сказали, что мне врать на себя! Не знаю, поверили им, нет, но потом говорили, что вот, дескать, развращал еще и вас, художников, ангелочков, втягивал в свои темные махинации!
— Но их же не было! Никаких махинаций! И я вообще не знал тогда...
— Да ты не бойся! Тебя еще и похвалили, поздравили!..
— С чем поздравили?
— Что вовремя вырвался. Теперь у тебя и выставка, и хорошим художником ты стал!.. Ну, дай бог удачи!..
— Благодарю вас, — машинально ответил я.
— А мое дело хана... Ну ничего, так они долго не протянут! Все развалится — а как же?
— людей лучших разгонят, кто работать будет? Все эти планы к черту полетят. Нет, не протянут, попомни меня!
— Как — не протянут?
— А вот так! Начали «порядок» наводить!.,
— Нет, может, с вами ошиблись, но порядок-то нужен. Нельзя, чтобы каждый делал что хотел...
— И ты туда же!

— Куда?
— Понятно! Тоже эту заразу подхватил, и молодежь уже...
— Не зараза! Наоборот, это лекарство. Надо же, чтобы правда была, справедливость, а если их нет, тогда зачем жить? И мы должны бороться...
Кансоу усмехнулся и поглядел себе под ноги. Я тоже вдруг смутился, замолчал, почувствовал, что говорю все это напрасно, мы все равно никогда не поймем друг друга.
Мы сидели невдалеке от гостиницы, как раз напротив входа в кафе. Едва кончился разговор, показался Киач. Он, шел с другой стороны, увидел нас, но тут же почему-то отвел глаза, быстро прошел в кафе, словно бы и не заметил.
— Что ж, молодец, молодец! — Кансоу снова усмехнулся. — Ну ладно, тебе куда?
— Вот, я в кафе...
Мы оба поднялись.
— Ну, будь здоров тогда... борец... До встречи.
— До свидания.
Я повернулся и побежал к Киачу.
Он стоял возле бара.
— А, отвязался уже?
— Да мы случайно встретились, я у него в совхозе работал раньше...
— Всегда, кого не хочешь, обязательно встретишь, — он даже сморщился. — Вот кого бы сто лет не видать!
— А разве ты знаешь его?
— Еще бы не знать! Я его ненавижу! Как только земля еще носит! Ходит как будто чистый, а внутри столько зла всякого спрятано, несчастья!..
— Что он тебе сделал? Ему и так не повезло, досталось...
— Ему? Нет, Алхас, ты его плохо знаешь. Чтоб ему досталось!.. Да у него сто шкур, это ты только одну видишь...
— Да нет, у него серьезно.
— Что же это с ним могло случиться, что ты его так жалеешь?
— Сняли его...
— А, вот это правильно! Только раньше было нужно. Дай бог, чтобы этим кончилось!
— Почему?
— Потому что, копнуть поглубже, там еще неизвестно что всплывет. Что под этими его шкурами...
— Да ладно, — решил я закончить неприятный разговор, — бог с ним, пусть сами разбираются.
— Негодяй! — не унимался Киач. — Он же еще и родственник мне, да такой, как говорится, седьмая вода на киселе. Все равно ненавижу! Он еще смеется надо мной, вечно подшучивает, издевается. Лучше бы на себя посмотрел! Моими глазами ему видеть бы себя, так наверняка бы повесился, если только он мужчина. Меня знаешь как называет? Уродом. Сам он настоящий урод и есть!
Я и не знал, что сказать Киачу. Но он, слава богу, сам наконец угомонился.
— Ну, ладно, давай сядем, что мы стоим.
Он пропустил меня вперед и сам следом за мной уселся на высокий стул перед стойкой, запрыгнув на него, как дрозд на ветку. Тут, на этих стульях-пеньках, он сделался сразу настоящим хозяином, записным гулякой.
— Ну что будем? — Он взглянул на меня: — Коньяк, водка, виски, вино? Выбирай!
— Как ты, Киач.
— Ну хорошо.
И он выжидающе уставился в сторону бармена, который занимался чем-то у другого конца стойки. Тот сразу же подошел.
— Коньяк. Ереванский.
Перед нами тут же очутились две рюмки и наполнились ереванским коньяком. Бармен

слегка кивнул и отошел.
— Ну, будь здоров, Алхас, — Киач поднял свою рюмку. — Будь здоров, — повторил еще раз, и в этих словах было столько теплоты, искренней доброжелательности, что хватило бы, наверное, не на один десяток человек.
Он выпил до дна и хлопнул рюмкой о стойку. Я, поблагодарив его, сделал то же.
Глаза Киача теперь светились радостью. Видно, вот в таком простом, дружеском общении за стойкой он и находил свое немудреное счастье. После коньяка заговорил громче, уже слегка возбужденный. Говорил обо мне, хвалил меня, не стесняясь чужих ушей, чтобы мне, гостю, и другие могли отдать дань уважения.
Но этого ему еще было мало. Когда к стойке сбоку от нас подсели два новых человека, видимо знакомых ему, Киач и их заставил выпить вместе с нами, представил меня. Один из подошедших оказался писателем, и Киач с гордостью красовался между нами, абхазской интеллигенцией, с которой был на короткой ноге.
Но слишком долго сидеть там не стали. Мы уже немного подгуляли и решили выбраться на воздух, чтобы не переборщить со своим шумным весельем.
Когда шли через кафе, Киач вытянулся в струнку, словно стараясь казаться выше, чем он есть, быть равным со мной не только дружбой, но и ростом. Все же каждый человек, наверное, хочет выглядеть в чужих глазах хоть на капельку лучше или значительней. Мы нашли удобную скамейку на набережной и уселись. Тут его снова захватило прежнее настроение, вызванное встречей с Кансоу.
— Так ему и надо! — ни с того ни с сего сказал он. — Чтоб еще и дружков всех за собой прихватил!
— Про кого ты? — не понял сразу я.
— Про Кансоу, кого же еще!.. А сейчас, наверное, овечкой прикинулся, когда с тобой разговаривал, пожалейте, мол, меня! Еж противный!
— Да нет, ничего он не прикидывался.
— Как же, я его знаю! — не унимался Киач. — Это такая ежиная порода, хочешь не хочешь, а все равно уколет тебя, даже когда иголки прячет. Не бойся, еще очнется, покажет свои иголки!
— Ну, кто знает...
— Я знаю! — запальчиво воскликнул Киач. — Зажрался, всю совесть потерял! Он меня вообще за человека не считал, но я в сто раз лучше его! Вытащить бы из него все, что он сожрал! Что нахапал! И вытащат, вытащат; еще увидишь!..
— Да что он тебе такого сделал? — не выдержал я. — Что ты к нему привязался!
— А чего он не сделал?! Чистеньким прикинулся, а внутри? Ты не знаешь, чем он занимался у людей на глазах! Откуда столько денег, что он сорил ими, как шелухой от семечек? А? Рестораны на всю ночь закрывал и кутил там вместе со своими холуями. Это что, за честный труд? А дом свой на что построил? Это же не дом — дворец, с хорошую гостиницу! И внутри... Да он ворюга, каких свет не видел, вот он кто!
Киач не выдержал и вскочил, размахивая кулаками. Я еле усадил его обратно.
— А с женщинами!.. Какой он бабник был!.. Как будто со всего света съезжались к нему, в его палаты, что он на совхозные деньги выстроил. Да он за шлюху мать родную продаст, не то что совхоз свой...
— Перестань, Киач, успокойся!
— Нет, не успокоюсь, пока он по земле ходит! Позор на мою голову, я сам, сам в его холуях ходил!
— Ты?
— Я, вот этот самый! А как же! Встретить, проводить — кого с поезда, кого с самолета, я катался, отвозил их, ключи передавал... За эти же, за ворованные деньги! Как будто нищий, ждал его подачки. И еще вроде он жалел меня... Позор мне, позор!
Он снова вскочил, и я уже не мог усадить его.
— Ну хватит, Киач, хватит. Что теперь казнить себя? Перестань, или я уйду, слышишь?

Тут он замолк, но губы его продолжали трястись, как будто продолжал без голоса говорить.
Ну, успокойся, что ты!
Он покорно опустился на скамейку.
— Не могу... Столько накопилось, лопнуть может... Почему? — Он посмотрел с тоской на меня. — Почему так? Почему одним все можно, другим ничего? Кто дал такое право Кансоу и остальным делать все, что они пожелают? Кто?! Почему, я, ты, все мы, все люди, не можем, а они могут? Объясни мне — почему? Я, Алхас, живу незаметно, но вижу многое, да, да, очень многое, даже то, что не замечают кто должен замечать. Я носильщик, но я не стыжусь своей работы, я делаю честно то, что дал мне бог. Разве это плохо? Пусть каждый несет тот груз, что на него возложили. Почему же этот Кансоу и похожие на него хотят меня унизить, смеются, издеваются или даже жалеют? Чем я хуже их, скажи! Что ростом меньше, с лица не ахти какой да профессия — носильщик? Этим? А я так не считаю! Не считаю себя хуже кого-нибудь, не хуже ни одного человека на свете! Я уважаю и себя и свою работу, вот и все, и будьте добры так же относиться ко мне!.. А эти выскочки, они хоть кому-нибудь хорошее сделали? Только зло! И думают, это им все так будет сходить, думают, никто не видит! Видят! Я их всех насквозь вижу, как рентген, они-то смотрят на меня и думают: а, что он понимает, все равно что слепец. Но я-то сразу все угадываю, они еще подумать не успеют, а я все знаю. Думают, всех купить можно. Ничего подобного! Не нужны мне эти их деньги, ворованные, вонючие, не нужны! Они не подкупают ими, а только злят меня, когда не хочу брать, а они впихивают: на, мол, на, для нас это все равно бумага. Я не попрошайка, я с утра до ночи работаю, и мне хватит, что я своими руками, своим потом заработаю, а не как они — грабежом. Поэтому я хочу, чтобы меня за человека считали, и у меня есть сердце! Пусть каждый трудом своим зарабатывает, что положено ему берет, а если нет — значит, нечего таким на земле делать, пусть они провалятся!.. Что, разве я не прав, Алхас?
— Прав, Киач, конечно!
— Вот так! Прав, тысячу раз прав! — снова начал закипать он. — Надо гнать их отовсюду, чтобы землю не поганили! Ведь и других людей калечат! Кто поймет, да слишком поздно бывает!.. Как я вижу теперь, как вижу! Неужели никто больше не видит, а, Алхас? Там не видят, наверху, кто должен смотреть? Ведь если бы видели, давно бы так не было, давно!
— Увидят, — ответил я, — увидели уже. Сняли же Кансоу твоего! И до других доберутся...
— Дай-то бог!.. Нас бы послушали!.. Эх, сколько я знаю, а сказать некому...
— Слышат, как же, Киач, не от тебя, так от другого, доходит все равно...
— Мои слова только ветер носит..
— Да нет, Киач, нет, неправда!
— Ну, дай бог, — повторил он еще раз.
Теперь он затих, вроде уже окончательно. Немного посидели молча. Киач взглянул на часы.
— Ну ладно, побегу, поезд скоро...
Он встал, пожал мне руку и пошел от набережной, маленький, смешной человечек, Киач, Киач-коротыш, как прозвали его...

36

Выставка кончилась, и я вернулся в Новолуние.
Вся деревня гудела как улей, только про меня, про мою выставку и говорили. Еще бы, ничего похожего не видело наше Новолуние. Оказаться вдруг перед столькими глазами, чуть не целого мира, как казалось нашим! Чтобы лицо твоего соседа висело в зале и люди специально приходили смотреть на него!.. Но был, конечно, и целый клан недовольных,

таких, которые после этой выставки на всю жизнь молча возненавидели меня. И Абас, ясное дело, среди них первый...
Дома... Дома, в общем-то, не ждало ничего хорошего. Семья пребывала в обычном состоянии: не мир, не война, так, обходили стороной друг друга, боясь какой-нибудь случайной стычки. Бабушка уже поднялась на ноги, но двигалась еле-еле, дальше двора никуда не ходила. Цару приготовила для меня свое молчаливо-злобное лицо, прослышала, что портрет ее матери тоже попал на выставку.
Бабушка была сильно встревожена из-за меня. Шедшие по деревне разговоры и ее не могли обойти стороной.
— Ну что там, Алхас, с этой выставкой? Правда, что ли, что ты так Абаса нашего опозорил? Хоть толком скажи, в чем дело?
— Да что говорить?
— Что ты там нарисовал? Я и не видела даже. А тут такие разговоры уже пошли... Чуть не убить тебя Абас поклялся! Я же боюсь за тебя, волнуюсь!..
— Ничего я такого не нарисовал. Нарисовал, что есть, что все видели. Ничего же от себя не придумал!
— Зачем тебе это, нан? Ну, для чего? Говорят, Абас в тот же день, как приехал с выставки, побежал к деду на могилу, утащил телевизор. А бабка его тебя проклинает...
— Ну и что, разве плохо это? И правильно, что утащил. Так ему и надо! Что он, с ума сошел! Председатель колхоза — как язычник. Еще бы сам туда лег, со всей скотиной колхозной!
— Это-то так, нан, но он обиделся, насмерть обиделся теперь.
— Пусть на себя обижается.
— Эх, как бы тебе худо не пришлось, вот за что сердце у меня болит!..
Но тут произошло новое событие, на время привлекшее к себе внимание всей деревни. Дата женился на Наталке Олейник.
Устроили им комсомольскую свадьбу. Первый раз это было у нас в Новолунии, но получилось отлично, отпраздновали на славу. А потом собрались съездить на Украину, к Наталкиной родне. Наталка звала и нас с собой: меня, Аду, Бадру... Мы подумали и решились: а что, такой случай, когда еще придется, интересно все-таки! Добирались весело, а в Киеве нас
уже ждали, прямо с вокзала повезли в деревню. Там тоже сыграли свадьбу, по второму разу, уже со всеми невестиными родственниками.
Хоть я и люблю наше Новолуние больше всего на свете, но их деревня мне тоже понравилась. Потому, наверное, что здесь все было по-другому: вместо гор с их тесными уступами, небольших, но бурных речек — бесконечная равнина, берега непривычно широкого Днепра... Глядел на все это, старался схватить, запомнить: как знать, может, пригодится когда-нибудь... Потом снова в Киев, на этот раз поплыли на теплоходе. По дороге останавливались, побывали на могиле Тараса Шевченко. Дата с Наталкой положили ему цветы. Потом долго мы все стояли перед памятником, охваченные каким-то необычайным, странным чувством близости, любви к великому украинскому поэту...
Ада все время была рядом, но я ждал той минуты, когда удастся поговорить с ней наедине. И вот как-то вечером мы гуляли по берегу Днепра и отстали с ней от других. Видно, и она ждала от меня чего-то, раз угадала мое желание, первый раз, наверное, за все время вот так пошла навстречу. Я, набравшись духу, спросил:
— Ада, ну теперь ты мне веришь?
— Я всегда хотела тебе верить, всегда. Только так все время получалось...
— Ну, а сейчас?
— Да, верю...
— И я! Ада, я тоже... Я...
— Тише, Алхас, молчи!..
— Почему?

— Потому. Еще услышат...
— Пусть слышат! Я ничего не стесняюсь!..
— А я не хочу. Не надо. Хватит, что я знаю Алхаса...
— Ада!..
— Ну что?
— Ты все равно как будто не веришь мне!.. Ты думаешь, я уеду куда-нибудь? Я не уеду никуда. Без тебя — никуда!
— Хорошо, успокойся, хорошо...
Она остановилась, посмотрела в сторону реки:
— Тебе нравится здесь?
— Да. Очень!
— Как интересно! Я столько читала про эту реку, и Наталка мне рассказывала, а видишь своими глазами — что-то совсем другое, даже словами нельзя до конца сказать... Смотри, в темноте она даже еще лучше!
Мы подошли почти к самой воде, стояли рядом, глядя перед собой. Ада была совсем близко. Я чувствовал ее сейчас всем своим существом, но боялся повернуться к ней, мы оба смотрели на реку, как бы надеясь, что она окажется смелей нас и отразит в своей черной воде все тайное и недосказанное.
Ада первая заговорила:
— Почему так, Алхас, я никак не могу понять, почему нас так тянет к природе? Что в ней такое, какая сила? Ведь она все равно не может ни сказать, ни ответить, что человеку до нее! А все равно: смотришь, смотришь на эту воду и не можешь оторваться...
— Я сам не знаю... Я тоже думал об этом...
— Просто удивительно...
Мы снова замолчали.
— Ада! — Я не мог сдержать себя, мне хотелось продолжить старый разговор.
— Ну что, Алхас?
— Если ты согласна... Давай, когда вернемся...
— Подожди, Алхас. Поговорим еще, посмотрим...
Я тяжело вздохнул и опустил голову.
Через несколько дней мы снова были в Новолунии.
И тут опять случилось несчастье: в третий раз ушла Цару из дома. Ныгутас постаралась. Притащилась к нашему двору, встала на пригорок и начала проклинать меня. Да так, что если бы сбылась хоть половина ее проклятий, будь у меня и сто жизней, ни одной бы не осталось. А кончив проклинать, начала причитать над своей Цару, точно сидела перед ее гробом. Вся деревня слышала...
Тут и Цару взбеленилась. До этого еще кое-как держался мир в доме, но теперь ему пришел конец. А кончалось всегда одним и тем же: Цару собирала свои вещи, хватала Амину и отправлялась к матери. Лично мне не столько ее было жалко, сколько Амину. Да и всем, по-моему, тоже.
Я тосковал по Амине страшно. Не мог без боли вспоминать ее покорные глаза, когда она, уже приученная матерью, точно пристегнутая к ней ремнем, уходила из дома. А Цару как будто специально делала это, чтобы сильнее уколоть нас. Да, знала, что дочь — единственное, что еще связывает ее с нашим домом и в случае чего поможет вернуться назад.
Нам всем было тяжело без Амины, без нее мы не сумели бы стать счастливыми, хоть осыпь нас золотом с ног до головы, даже просто улыбаться — и то не могли. Видели ее мельком, вдалеке, когда она шла куда-нибудь с матерью, и, конечно, не могли подойти.
Опять в доме было сумрачно и пустынно. Утром мы с Адамыром готовили завтрак (бабушке мы еще не разрешали ничего делать), а потом расходились на целый день: Адамыр в школу, отец на виноградник, я в свою мастерскую... Я старался отвлечься за работой, не думать ни о чем, но все равно в перерывы, когда отрывался от холста,

вспоминал все снова, и невеселые мысли тянули за собой, так что никакой силы не хватало оторваться.
Раз как-то вышел из мастерской, устав от бесконечных занятий, остановился посреди двора, одинокий, такой же пустой, как сам двор, остановился, и даже трогаться с места не хотелось...
Тихо подошла Бгазлоу, такая же печальная с виду, как и весь наш дом. Подошла ко мне, задрала морду, как будто хотела услышать от меня что-то утешительное, доверчиво уставилась в мои глаза.
Собака постарела, глаза ее слезились, словно только что наплакалась вдоволь, и мне казалось: дотронься я до нее, приласкай, она снова зальется безудержным плачем. Так и глядели мы друг на друга, будто испытывая, кто вытерпит больше, чье сердце окажется крепче. Но вот она повесила морду, вздохнула, как человек, и отправилась восвояси. А я остался посреди двора одиноким столбом.

Темыр Алан велел мне зайти к нему, что-то хотел попросить нарисовать для райкома. Мы обговорили дело, а потом перешли на меня. Он снова хвалил, повторял, что я на верном пути, так и надо рисовать, поближе к людям, к тому, что под носом, идти, не бояться ничего, преодолевать, и так далее. Я, конечно, ободренный такой поддержкой, отвечал, что буду стараться и сам того же хочу, особенно теперь, после выставки... Наконец-то я почувствовал уверенно себя, решил, что теперь уже ничего не помешает, буду работать, смогу развернуться во всю силу.
И вот разговор уже закончился, я встал, собирался прощаться, в это мгновение дверь открылась, и в кабинет секретаря влетел Абас. Я хотел было скорей уйти, но Абас остановил меня:
— Подожди, ты как раз тоже нужен.
В руке у Абаса был какой-то журнал, я даже не успел разглядеть какой, он быстро подошел к столу и положил журнал перед секретарем.
— Вот, поглядите. Ваш любимчик!
Темыр Алан с удивлением взял журнал, и тут же лицо его словно окаменело. Я тоже подошел и заглянул, что там было...
А там была моя карикатура, которую я когда-то послал в «Крокодил». Называлась она «Когда застревает секретарь райкома». Сам секретарь с недовольным видом сидит в машине, а сбежавшиеся люди на руках пытаются вытащить ее из разбитой колеи. Такой случай был на самом деле: Темыр Алан засел как-то на дороге в Абгаларта, когда ее все еще никак не могли собраться починить. Я сам оказался там случайно и тоже помогал... А теперь об этом узнала вся страна, столько миллионов, сколько получают журнал! Правда, там не было написано, что вот это лично Темыр Алан, секретарь нашего района, но моя-то подпись стояла, и у нас каждый мог легко догадаться, кто это такой.
Вот так совпало! Кого же я нарисовал? Человека, который помог мне, вытащил из глуши, устроил выставку, словом, сделал для меня больше, чем кто-либо другой! И вот благодарность! Как же так! Я уж и забыл давно про этот рисунок, словно и не я рисовал, но он — пожалуйста! — перед моими глазами и перед глазами того, кто на нем изображен!
Темыр Алан отодвинул журнал и посмотрел на меня. Лицо его теперь подрагивало от гнева.
— Ну, знаешь, братец, ты уже того... Что-то ты через край хватил, товарищ Анба. Это мы тебе так не дадим! Не дадим, запомни, товарищ! Все, можешь идти!..
Что мне оставалось делать? Повернулся и вышел.
Да, видно, смелость, про которую говорил секретарь, тоже хороша в своих пределах. Вот тут-то она мне боком и вышла! Внизу, возле журнального киоска, что был в здании, раскупали «Крокодил», уже купившие тыкали пальцами в карикатуру, показывали друг другу. Кто посмеивался, кто качал головой. Мне повезло, я попал как раз в перерыв, когда

в вестибюле людно, многие здесь знали меня, были на выставке, теперь провожали глазами, шушукались, усмехались за спиной.
Но не только в райкоме узнали обо мне. На автобусной станции я заметил группу незнакомых людей с тем же журналом. И разглядывали как раз мою карикатуру.
— Ясно, наш Темыр, кто же еще! Это же Анба нарисовал, из Новолуния, не слышал разве, в газете про него было.
— Ну и парень! Дадут ему теперь по шапке.
— Ничего не будет. Тут же не написано, что это Темыр.
— Не написано! Подпись-то художника есть. Значит, ясно, где он этого секретаря видел, не в Сибири же!
— Ну и что! Если плохие дороги, что, художник виноват? У нас вон тоже, не проехать, не пройти, второй год починить не могут!..
— Алхас Анба. Да, будет теперь этому Алхасу!..
Слава богу, меня тут не узнали, подошел автобус, я быстро влез в него и всю дорогу просидел, уткнувшись лицом в окно.
Вот так слава пришла ко мне! Чего-чего, а такой я уж никак не ожидал.
У нас тоже скоро про все узнали. Пришел «Крокодил», и весть молнией облетела деревню.
— Что же ты сделал, нан! — сокрушалась бабушка. — Опять врага нажил, да еще какого!
И отец вторил ей:
— Нехорошо, Алхас, получилось. Он тебе так помог, можно сказать, в люди вывел, а ты нарисовал. Разве можно так? Вместо благодарности!..
Тут же и Адамыр не утерпел:
— А у нас в школе говорили, что ты кого-то нарисовал в «Крокодиле»!
Я рассказал им, как все было, что нарисовал давно, тогда еще даже не знал Темыра, просто сказали, что он секретарь...
— Он вроде парень неглупый, этот Темыр, — сказала под конец бабушка, — бог даст, отойдет, как-нибудь помиритесь...
Ну что ж, оставалось только надеяться на это.

Солнце нового дня вставало из-за Кьянтаза. Я стоял на балконе и смотрел на него, а оно щекотало меня своими теплыми утренними лучами. Сам Кьянтаз горделиво поднимался над Новолунием с видом сытого, хорошо ухоженного коня, который только и ждет, как бы погарцевать ему на свободе. Новолуние просыпалось, готовилось к новому своему дню.
Я стоял и глядел перед собой. Глядел как на картину, на лучшую из всего, что мне приходилось до сих пор видеть. Ее бы нарисовать! Свободной, легкой кистью художника, парящего над всей землей!
Но где эта свобода, где эта вольная кисть? А?